20.241к

ПорыВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ПОРЫВ

П-609

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

39176

КНИГА
ПЕРВАЯ

Областная библиотека
Читальный № ... инв.
НКП г. Симферополь
АННУЛИРОВАН
Областная Центр. Библиотека
Кр. Н. Н. П. Г. Симферополь
94 -- 2010

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИВАНОВО * * * * 1936

Кр. 20. 241.

Ивановская
Кр. отд. экз.

В. ТЮКАЧОВ

НА ЧУЖБИНЕ

ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует	По чьей вине опечатка
40	20 снизу	ред. Каждый стремился схватить свертоκ. Полубуханка белого хлеба	ши жалкие лица. Со слезами на глазах мы просили подать хлеба.	Тип.
43	20 „	закалось	казалось	Тип.
184	11 сверху	Хрькову	Харькову	Тип.
206	4 „	От	Он	Изд.

Кр. 20. 241.

В. ТЮКАЧОВ

НА ЧУЖБИНЕ

В. Тюкачов родился в 1897 г. в семье крестьянина-бедняка. Двенадцати лет его привозят в Ярославль и отдают на „ученье“ в столярную мастерскую.

Наивным восемнадцатилетним юношей Тюкачова берут на войну летом 1916 г. Через год он попадает в германский плен, а затем, уже из Германии,—во французский плен.

После трех лет голодных скитаний, после геройской борьбы Тюкачов, в числе двадцати двух тысяч пленных, 5 сентября 1920 г. вернулся в родную Советскую Россию.

Сейчас же вступает добровольцем в Красную армию, участвует в борьбе с белополяками. По окончании гражданской войны Тюкачов вернулся в Ярославль. Работал на строительстве Резино-асбестового комбината. Член партии.

„На чужбине“ записки о плене.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

На Сенной площади — море голов, яблоку негде упасть. Со всех концов Ярославской губернии сюда стеклись рекруты... Против желания их оторвали от родных полей, на которых волновалось золотое море поспевших хлебов. С тоской и злобой расставались они с ними, заливая горе вином.

И вот пьяные голоса, брань, причитания женщин, плач детей, ржание лошадей и суровые окрики унтеров и фельдфебелей — слились в один общий, неопределенный гул.

Из окон Вознесенских казарм шел запах ржаного хлеба и кислой капусты. Во дворе казарм — давка...

— Эй, ты куда прешь?

— А тебе что, — аль тошно?

— Успеешь пулю глотнуть! — раздавались голоса новобранцев.

— Сынок мой, родимый... — надрывалась у дверей приемочной комиссии пожилая женщина: — на кого же ты меня бедную покидаешь!..

Непонятная тоска овладела и мной, когда я вошел в приемочную. Сердце сжималось от боли, мысли путались. Доктор постучал в грудь, посмотрел язык, крикнул:

— Здоров.

Смеряли рост, корпус и назначили в пехотную часть.

В казарме я познакомился с товарищами по несчастью и особенно сдружился с Пашей Костровым и Колей Сурковым. Паша Костров — крепкий, развитой парень из приволжской деревни. Его карие, постоянно улыбающиеся глаза смотрели прямо и дерзко. Он был вспыльчив и упрям. Паша относился к товарищам тепло и отзывчиво. За это в казарме все его очень скоро полюбили.

Стройный и красивый Сурков, с продолговатым, немного смуглым лицом и черными глазами, походил характером на Пашу. Он не любил много говорить, но уважал, когда его слушали.

Мы были одного роста и попали в третий взвод четвертой роты. Спали рядом на соломенных матах. Вставали рано, быстро одевались, становились в строй.

Томительно тянулись первые дни. Нас обучали сложной, но глупой солдатской муштре. Учили вытягиваться в струнку перед офицером, молиться и петь бессмысленные песни.

С утра и до позднего вечера маршировали мы по двору казармы,

упражнялись с винтовками, кололи чучела. Из нас готовили пушечное мясо.

Хотелось вырваться из казармы, пройтись по городу, но пускали только тех, кто хорошо научился отдавать честь офицерам, доблестно становиться во фронт перед генералами и широко пялить глотку, выкрикивая приветствия «благородию» и «превосходительству». У меня, Кострова и Суркова к этому способностей и желания не оказалось. А Сурков при встрече с офицером даже отворачивал голову, делая вид, что не замечает его. Поэтому воскресные дни мы сидели в казармах.

Каждое утро наша рота, четко выбивая шаги в такт барабану, маршировала на плацу. Командовал молодой, безусый поручик. Надрываясь, он кричал:

— Раз! Два! Три! Четыре!

Шагая в строю, я наблюдал, как невпопад качались солдатские головы. Молодые солдаты поминутно сбивались, и тогда начиналось издевательство. Издевательство это носило законный характер и никем не возбранялось.

Ротный командовал:

— Смирно! Б-е-е-г-о-м-м-арш!.. Раз! Два! Три! Четыре! Ро-о-та а, стой!.. Слушай команду! Ряды сдвой! На-ле-е-во! На-пра-а-во! Гусиным шагом, левое плечо вперед, ша-а-гом-арш! Ра-а-а-з! Два-а-а! Три-и-и! Че-е-ты-ы-ре-е! Ро-о-та, стой!

Это продолжалось иногда по полчаса. Солдаты задыхались, измученные муштрой.

Однажды Костров не выдержал и крикнул:

— Остановитесь!..

Вскипевший ротный подскочил к Паше и дал ему резкую пощечину. Взводному он приказал поставить Кострова под ружье на четыре часа.

Я заступился за Пашу.

— Ваше благородие, за что бьете!..

— Что-о-о? — закричал ротный. — Дать ему два часа!..

— Есть, ваше благородие!.. — отвечал фельдфебель, записывая в книжку мою фамилию.

После обеда роту разбили повзводно, вывели снова на плац. На этот раз учили штыковому бою.

В разных местах широкого плаца расставлены соломенные чучела, изображающие противника.

Взвод выстраивали в затылок на расстоянии ста шагов от чучела. По команде взводного командира солдаты поодиночке, с криком ура, бросались на чучело.

Тарасов с разбега дал промах, ударил штыком в раму чучела.

— Куда колешь? Отставить! — крикнул подошедший ротный. — Два шага назад! К бою готовсь!..

Тарасов, держа на изготовке винтовку, присел на носки.

— Коли! — скомандовал ротный.

Штык мягко вонзился в правый бок чучела.

— Отставить!.. Коли!.. Отставить!.. Кру-у-гом! Двадцать шагов

вперед, ша-а-гом-арш!.. Кру-у-гом. К бою готовсь!.. В атаку, ура-а-а!

— Ура-а-а! — надрываясь кричал Тарасов, насквозь вонзая штык в чучело.

После Тарасова пошел Костров, за ним я. И каждого из нас ротный командир заставлял колоть чучело по нескольку раз.

До позднего вечера нас гоняли по плацу.

После каждого занятия солдаты возвращались в темную, грязную казарму измученные, голодные. Набрасывались на вонючие щи, тесаками разрезали сухие буханки черного хлеба. По команде ложились спать на жесткие соломенные маты, в которых кишели клопы и вши.

Вечером после ужина Паша и я встали рядом под винтовку. Взводный скомандовал:

— На-а-пле-е-чо! Смирно!

Дежурному по роте строго приказывалось наблюдать за стоящими под винтовкой. Наказанный должен был выстоять два часа с полной выкладкой: четыре кирпича в ранце, три сотни патронов, скатанная шинель, баклажка, котелок, походная лопатка и винтовка на плече. Разрешалось только водить глазами, но ни в коем случае не переступать с ноги на ногу, даже не шевелить пальцами.

— Скотина... — выругался Паша по адресу ротного, расправляя отекшие руки после двухчасовой стоянки.

У меня сильно болели ноги, а ремни ранца, врезавшись в тело, образовали красные полоски на плечах.

— Это первый урок для нас, Паша, — сказал я.

— И ты его получил за меня...

— Ничего, я не обижаюсь, Паша. Надо привыкать ко всему.

Свободное от занятий время солдаты проводили каждый по-своему. Пришивали пуговицы, крючки, чистили винтовки. Собирались группами, говорили о войне.

Среди нас были солдаты, которые, несмотря на свою молодость, с охотой шли защищать «свое отечество», не верили в поражение русской армии, стремились в бой. Особенно Гусев и Петров, отцы которых торговали мукой в Самаре. Каждую неделю родители высылали им деньги. Фельдфебель их отпускал в город, а они за это приносили ему вино и закуску.

Мы ненавидели этих солдат. Сурков постоянно вступал в спор, он был жестоким противником войны. Костров Паша открыто не высказывал своего мнения, к немцам он не имел никакой злобы, на фронт шел с неохотой, но иногда говорил: «Войны не хочу, а воевать хочется».

Левашов, земляк Суркова, худой, с болезненным лицом, часто по ночам втихомолку плакал. На занятиях он был внимателен. Однако, учеба давалась ему с большим трудом. Перед офицерами дрожал, порой готов был прослезиться. Левашов страшно боялся войны, при одном напоминании о бое он заявлял:

— Если отправят на фронт, я оттуда не вернусь.

— Почему же? — спрашивали товарищи.

— Меня убьют, я это предчувствую.

— Не решай судьбы своей прежде времени, — оговаривал Левашова Костров, — и хныкать не следует, подними голову, будь солдатом!..

Что касается меня, то я шел на фронт с одним желанием: увидеть что-то новое, не похожее на то, что окружало меня в столярной мастерской. Я с детства увлекался фантастическими романами и легендарными героями, поэтому мои молодые мысли были наполнены жаждой новых событий и приключений. Недаром Сурков не раз упрекал меня:

— Не рвись к своим приключениям, придет время, плакать будешь кровавыми слезами.

Внутренне я с Сурковым соглашался, однако отвечал ему:

— Плакать не буду, Коля... Почему не итти, когда все идут?

— Не все идут, а всех гонят. Ты понимаешь, нас три брата: старшего убили, средний — инвалид с оторванной ногой, а меня ждет неизвестно еще что.

Эти слова на меня подействовали. Я вспомнил тоже своих братьев. Один недавно прислал письмо из лазарета, второй — где-то на австрийском фронте, уже давно не дает знать о себе, может быть убитый... Мной овладела тоска, сердце больно сжималось. Я молча вышел во двор. Красное солнце садилось за горизонтом. Весь запад словно пылал в кровавом пожарище. Мне стало страшно. Высокий забор окружал широкий двор казармы. Там и сям стояли кобылы, турники, соломенные чучела с проколотыми животами. При виде их я вздрогнул, в мыслях блеснуло: «нас учат правильно колоть штыком эти безжизненные чучела, а потом... живых людей...»

Горнист Коваленко заиграл вечернюю зорю. Солдаты строились на поверку. С тяжелыми размышлениями я поспешил в казарму и встал рядом с Костровым.

— Ты где был? — спросил Паша. — Здесь раздавали патроны. Завтра пойдем на стрельбище, — и добавил: — а я еще получил...

— Что?

— Два часа...

— Как же ты?

— Дежурному офицеру не козырнул.

Команда «смирно» прервала наш разговор. Началась перекличка.

В пять часов утра раздалась команда на подъем. На верхних и нижних нарах засуетились солдаты. Одеваться полагалось три минуты, за это же время должна быть оправлена «постель».

У Левашова пропала одна портянка. Прыгая в одном сапоге, он растерянно бормотал:

— Ребята, кто взял портянку? Кто взял?..

— Ты что прыгаешь босой! — внезапно заорал появившийся фельдфебель. Черные усы фельдфебеля приподнялись, в зрачках вспыхнул злой огонек.

— Портянка, господин фельдфебель!.. — несвязно отвечал побледневший Левашов.

— Портянка?! Эх, баба рязанская!.. На!..

Фельдфебель увесистым кулаком ткнул в лицо Левашова. Из носа брызнула кровь.

— Смирно! Кто приказал вытирать нос?.. — ревел фельдфебель. — Приседай! Ра-а-а-з... Шире коленки! Ниже опускайся! Два-а-а. Выше!.. Ниже!.. Пятки вместе, носки врозь!.. Ра-а-аз... Два-а-а...

Рота получала кипяток. Солдаты наспех завтракали, а фельдфебель Шаргунов, сидя на нарах, безжалостно издевался над Левашовым. В десятый раз заставлял его медленно приседать. Дальше бедняга не выдержал: бледный, дрожа всем телом, он упал на цементный пол. Костров бросился к Левашову, схватил его, приподнял и посадил на нары.

— Тебе кто приказал! — вспыхнул фельдфебель.

— Это же издевательство! — не выдержал Сурков.

— Не по закону поступаете! — вмешался и Костров.

— Что-о-о?.. И ты!.. — сдавленным голосом прошипел фельдфебель. Его высокая фигура сгорбилась. Глаза налились кровью. — Взводный! — крикнул он. — По два часа каждому с полной выкладкой, под ружье!..

— Есть, господин фельдфебель!..

Во дворе заиграл горн строиться. Каждый солдат брал из пирамиды свою винтовку и выходил в строй.

Прошли три месяца казарменной муштры. Наспех и кое-как нас подготовили колоть чучела и стрелять из винтовок, и первого августа 1916 года, маршевой ротой, отправили на западный фронт.

2

На левом берегу Западной Двины мы остановились лагерем. Нашу маршевую роту влили для пополнения пехотных частей. Наш третий взвод целиком попал в шестую роту стрелкового полка. Здесь окружающая обстановка совершенно изменилась. Старые фронтовики, загорелые бородачи, казалось, насквозь пропитанные порохом, были угрюмы, с красными глазами от бессонницы. Некоторые из них нас встретили насмешками.

— Вояки... — говорили они. — Видно больше некого посылать на бойню из матушки России... Мальчиков пригнали...

— Разве мы мальчики? — обиженно отвечал я запаснику.

— Вояка?.. От первого снаряда напустишь в штаны.

Я вспыхнул, что-то ущемило сердце.

— Да уж и вы вояки... Отступаете. Почему бежите от немцев?..

Бородатый запасник посмотрел на меня, сдвинул картуз на затылок, оглянулся на солдат и насмешливым тоном продолжал:

— Э-э-э. Вон какой... Смотри-ка, сейчас погонит немцев. Только штаны держи, малый, — потеряешь...

Скопившиеся вокруг нас солдаты засмеялись.

— Не дело, ребята, — вдруг произнес с рыжими усами солдат.— Плакать надо, а не смеяться, что наших детей гонят на фронт. Кто в этом виноват? Разве они? Нет... Они не по своей воле идут, и смеяться не следует.

Эти слова подействовали на солдат. Угрюмые фронтовики опустили глаза в землю. Овеянные ветрами, их лица еще больше нахмурились.

— Ты прав, Иванов... — сказал один высокого роста, с широкой грудью, на которой красовался георгиевский крест.

Наступал вечер. Под блеском зари сверкали штыки ружей, составленных в козла. Дымились походные кухни. Трещали костры. Солдаты жарили вшей, вытряхивая их из гимнастерок. Офицеры отдыхали в усадьбе помещика, сбежавшего в город. Далеко, за потухающим горизонтом, гремели орудия.

Утомленные бессонницей и переходами, солдаты готовились отдохнуть на сухой земле. В ночь мы должны будем выйти на передовую линию и занять окопы.

Костров Паша лежал на спине, по своей привычке заложив руки под голову, насвистывал деревенскую песенку.

Я снял ранец и патронташ, которые с непривычки порядком натянули плечи. Развернул скатку шинели, оделся и сел рядом с Пашей, облокотившись на ранец. С другой стороны Паши расположился Денисов, он не снимал ранца, сидел в боевой готовности, опустив голову вниз, ковырял сухую землю пехотинской лопаткой. Изредка он поднимал черные глаза, вглядывался в потухающую зарю, прислушивался к далекому реву артиллерии.

— Немцы шпарят... — проговорил Ванченко, лежавший рядом со мной. — Крепко дуют... Видно сорокадвухсантиметровки...

Я посмотрел на Ванченко. Он был невысокого роста, лежал навзничь. Маленькие темные глаза чуть заметно бегали под густыми бровями. Говорил Ванченко больше по-украински, но одновременно употреблял и русские слова. В его мягком голосе чувствовалась теплота, особенно к нам, молодежи, он относился с жалостью. За это мы его прозвали «Дядя Ваня», и он не обижался на это прозвище, а даже уважал, когда его так называли. Дядя Ваня не любил ссориться ни с кем, но если с ним спорили, он настаивал на своем и ни за что не уступал противнику.

— Дядя Ваня, — спросил я, — говорят, сегодня пойдем в окопы, — будет наступление?..

— Хиба к цьому привыкаты. Версту вперед — десять назад...

— Зачем же назад? — удивился я.

— А вот побачишь... Писля кожного наступа мы тикаемо...

— Что тикаемо?

— Ну бежимо назад... У нас уж так водится. А ты бы, хлопец, лучше лег, та заснув, там спаты не придется. Неколы будэ. Вишь, як хлопцы храпят!..

Я посмотрел назад. Левашов, Тарасов и Некрасов лежали рядом и крепко спали. Костров тоже заснул.

— Видно, что им тоже натянули плечи лямки ранцев. А почему ты не спишь, дядя Ваня?..

— Я вже привык. По нидили бувало не спимо. В голови як черты пляшут и свит кажется жолтым, ноги як чугунные, а все гонят та гонят. Який же це воин, колы витер его болтае из стороны в сторону. Жрать хочется, — патроны выдают. Стреляты надо, — сухари присылают... Вот те и воюй... А як ворвешься в окопы нимцев, — у них и вино и консервы, хлиба вдоволь. А нам наварят сухих овощей, що у нас на Украине свиней кормят, та и гонят на убий.

— Кто же в этом виноват, дядя Ваня?.. — спросил я.

— Хто?! — дядя Ваня повернулся и лег на бок, оглянувшись кругом, проговорил шопотом: — Тамо!.. — показал на север, — виновники окапалыся утварью... В тылу сидят... Та що балакаты!..

Дядя Ваня махнул рукой, поправил ранец и положил на него свою голову.

— Ложись, хлопец, та засни трохи.

Темнело. В лагере становилось все тише, солдаты дремали. Я посмотрел на Пашу, спящего все так же — с заложенными под голову руками. Лег на ранец. У меня бродили странные мысли. Недосказанное дядей Ваней о виновниках беспорядков для меня было еще непонятно.

Резкий сигнал горна поднял на ноги весь лагерь. Было совершенно темно, когда я встал с земли. Дрожащими руками надел ранец, подпоясался патронташем.

Тяжело поднимаясь с земли, солдаты молча строились.

...Поздней ночью наш полк прибыл на передовую линию. Стрелять и зажигать огни было строго запрещено. Из-за темноты не было никакой возможности ориентироваться. Мы не знали, в каком направлении находится неприятель. И догадывались об этом только по тому, как был построен наш окоп.

Прошел слух, что перед утром будет наступление. Все солдаты чувствовали себя напряженно. Некоторые молодые потихоньку плакали, другие, наоборот, находились в каком-то странном возбуждении. Я впервые почувствовал, что мной овладевает сильное волнение. По телу пробегала дрожь — зуб-на-зуб не попадал.

«Что это? — жадно всматриваясь в темноту ночи, подумал я. — Испугался, струсил?»

Я посмотрел влево. Коля и Паша стояли рядом, упершись грудью в земляную стенку окопа, и при виде их мне стало веселее.

Еще было темно, когда с нашей стороны загремели орудия. Низко над окопами, над самыми головами солдат, с визгом проносились тяжелые снаряды, где-то далеко, на неприятельской линии, падая с глухим гулом, рвались.

Неприятель упорно молчал и этим ставил наше командование втупик. Кто его знает, где он находится! Видно было, что и артиллерия не знала, где немецкие войска, и стреляла наугад.

Справа, на горизонте, слышится как бы рыкание разъяренных львов. Это взрывы наших снарядов, от которых стонет земля. Беспрерывно вспыхивают по всей линии огни выстрелов. Зловещее крас-

ное зарево от взрывов мин и торпед озаряет глубину неба. Глухо вдали и четко вблизи слышен сухой, бездушный треск пулеметов. Изредка яркий сноп света прожектора прорезывает туманную даль, ища неприятельский аэроплан.

Сквозь густой туман прорезался серый рассвет наступающего дня. Впереди ничего нельзя было разглядеть, все утонуло в этой серой пелене тумана.

Артиллерийский гул, доносившийся сначала с правого фланга, вскоре прокатился по всему фронту и перешел в сплошную канонаду. Однако, с неприятельской стороны попрежнему молчали батареи. На левом фланге началась ружейная перестрелка. По цепи передали готовиться к бою.

— В атаку пойдем. Крепче держи винтовку, малыш, ато немец распорет брюхо, — сказал мне рядом стоявший солдат Кудинов.

Я посмотрел на него и его грудь с георгиевским крестом и подумал о храбрости. В мыслях блеснули соломенные чучела, которых мы безжалостно кололи во дворе казармы, и я вздрогнул.

— В рукопашную? — робко переспросил я Кудинова.

— Да, в рукопашную... Только в таком бою мы и побеждаем. Немцы боятся русской атаки...

— Но ведь и они тоже колоть будут?

— Еще как! Только не надо зевать. Я говорю, они трусят, не подпускают к рукопашной...

— Почему же они молчат, не отвечают на наши батареи? — спросил я.

— Когда у нас кончатся снаряды, и они будут стрелять. Так уж водится... — ответил Кудинов, поправляя патронташ.

С восходом солнца туман стал реже, он, постепенно отделяясь от земли, поднимался вверх, образуя густые облака.

В восемь часов утра раздалась команда наступать. Робко полезли из окопов солдаты. Я взглянул на товарищей. Левашов с бледным лицом, широко открытыми глазами, полными ужаса, выпрыгнул из окопа, перекрестился и, сгорбившись, побежал. Сурков и Костров Паша бежали недалеко друг от друга. Я старался не терять их из вида. Мы неровной цепью побежали по кочкам, ухабам и лужам. Пробегали несколько саженей, ложились и прятались за кочки. Неизвестно, долго ли бежала наша цепь, но вот мы услышали треск пулемета. Сначала думали, что это стреляют с нашей стороны, но неожиданно два солдата, бежавшие недалеко от меня, бросили из рук винтовки и без крика упали на землю.

За ними упал третий, мой сосед: он вскрикнул, схватился за глаз и через его пальцы брызнули густые струи крови. Он упал вперед, не выпуская из руки винтовки. Еще долго я слышал позади себя его страшный мучительный стон. Убитые, раненые все падали и падали, а мы бежали вперед, держа ружья наперевес.

Оказалось, что неприятельские окопы находились на опушке леса. Туман исчез, взошло солнце. Видно было, как над немецким окопом то и дело взлетал пороховой дым от пулеметов. Чем ближе прибли-

жались мы к неприятелю, тем ожесточеннее стреляли пулеметы. Потом на нас градом посыпались ручные гранаты. Они рвались под ногами солдат и перемешивали их с грязью.

Я бежал, не чувствуя под собой земли. В пороховом дыму, в грохоте гранат, в стоне раненых и умирающих товарищей я ничего не видел вокруг себя. Ни одной минуты я не задумывался, зачем я бегу. Убивать я никого не собирался, бежал потому, что велели бежать. Но вдруг по цепи, как гром, прокатилось «ура». Стрельба в окопах немцев мгновенно прекратилась, я увидел, что навстречу нам бегут, сверкая стальными шлемами и выставив вперед широкие лезвия штыков, немецкие бойцы.

Цепи сомкнулись... Две живые лавины устремились друг на друга. В этой каше я бросался то вперед, то назад, спотыкаясь о тела, втоптанные в грязь.

Сердце глухо стучало в груди... Руки судорожно сжимали винтовку. Вдруг перед глазами блеснуло широкое лезвие штыка. Что-то большое и темное надвигалось на меня. Напрягая последние усилия, я вонзил штык... Что-то рухнуло мне под ноги. Перепрыгнув, я внезапно упал в яму.

Тело дрожало, словно в лихорадке, щеки горели... Я бессознательно сжимал винтовку и долго не мог опомниться... Взгляд мой случайно упал на штык. На лезвие его запеклась кровь...

Контр-атака кончилась. Противник отступал. Наши заняли его окопы и укрепились в них. Но не прошло и получаса, как зарокотали немецкие пушки. Германские орудия нащупали только-что занятые нами окопы.

Тяжелые снаряды уничтожали все...

Началось наше отступление. Бежали, сгорбившись... Рядом со мной с окровавленной щекой бежал Паша Костров.

Отступление длилось весь остаток дня и всю ночь. Уже далеко позади мы оставили окопы, в которые я упал во время атаки, а отступление не прекращалось. Немцы, преследуя нас артиллерийским огнем, шли по пятам.

Остановились мы на опушке леса. Наскоро укрепились. Подсчитали потери...

От полка после боя остались две роты.

Старые фронтовики ругали начальство. Как я узнал после, вовсе не надо было итти в эту бессмысленную атаку, не имея поддержки с тыла. Командир взвода Лебедев рассказал, что наша разведка попала в ловушку. Она сообщила командованию о малом количестве немцев и отсутствии батарей на участке. Кроме того, немецкие окопы были искусственно замаскированы вдоль опушки леса. Со стратегической стороны место для атаки было выбрано неудачно. Мы шли по ровному полю, на виду у немцев, без всякого прикрытия.

— И так всегда... — говорил Кудинов: — нас бросают в бой, под открытый огонь противника, без всякой цели.

— Но как же иначе, — с любопытством допрашивал я старого фронтовика, — если немцы сидят и молчат, наступать-то надо?..

— Надо, да не так надо наступать. Вот побудешь с месяц, понюхаешь пороху, поймешь, где надо, а где и не надо наступать.

— Ты давно на фронте?

Кудинов махнул рукой, потянул свои длинные черные усы, вынул из кармана шинели кисет с табаком, скрутил из письма цыгарку, закурил.

— Сотое письмо докуриваю. Дням счет потерял...

— Много раз был в рукопашной?

Кудинов поднял винтовку и показал на ствол.

— Посчитай... После каждой атаки я делаю отметки.

На прикладе я насчитал двадцать одну царапину ногтем.

— И остался жив?

Я посмотрел на смуглое загорелое лицо Кудинова, покрытое сплошь волосом. Из-под густых бровей смотрели добрые ласкающие и в то же время бесстрашные, привыкшие ко всем ужасам глаза. Эти голубые добродушные глаза двадцать один раз смотрели в лицо смерти. Эти корявые черные руки двадцать один раз несли винтовку в рукопашный бой. И он жив... А я один раз испытал ужас атаки и больше не хотел бы ее видеть никогда.

— Так вот, малыш! — перебил мои мысли Кудинов. — Учись воевать!..

— Почему же мы отступаем? Несем поражение за поражением?.. — после некоторого молчания спросил я.

— Наше начальство... — и Кудинов, приподняв руку, как бы угрожая пальцем или кого-то остерегаясь, безразлично махнул: — никуда наше начальство не годится!

— Вот видишь, — продолжал он, — мы сейчас стоим по опушке леса. Впереди километра на три тянется поле. В конце, вон там слева, деревушка стоит, а за ней овраг и потом возвышенности. Там, безусловно, сидят немцы.

Кудинов, рисуя расположение фронта, показывал рукой то в одно, то в другое направление. К нам подошли Сурков, Костров и еще несколько солдат — остановились позади, слушали Кудинова. А он спокойным голосом продолжал рассказ:

— Немцы не бросят свои войска вот при таком расположении фронта, прежде чем артиллерия не разобьет наши укрепления, а они бьют без промаха. Наше же начальство не считается с солдатами. Тысячами погибает наш брат зря...

Кудинов замолчал. Сурков поставил винтовку к земляной стенке окопа, сел на ящик из-под патронов и глухо, но твердо сказал:

— Н-да. Без толку все делается...

— Наши полковники хотят щегольнуть доблестью русской армии, — вмешался в разговор Иванов, — да никак у них это не получается. После каждого сражения приходится уносить пятки в тыл.

— Это правда, — поддержал его Денисов.—Прошлый год командир дивизии генерал Громов завел свои полки под Ковно в непроходимое болото. Что получилось? Мы в болоте по шею тонем, пузырики пускаем, а немцы обошли по сухой местности, оцепили кольцом... Два полка от дивизии еле ноги вытянули, остальные погибли под снарядами и пулеметным огнем. Разве генерал не знает геогра-

фию?.. У него карта под носом... Эх... Да что говорить, — Денисов махнул рукой, — там продали, там под убой подставили!..

— Хиба им жаль нашого брата?.. Я тежь десяток раз в рукопашной був... Наш брат, если гонют, лезэ напролом. Кожний раз побеждаемо в атаки, а потим пятки смазываемо. Почему? Та потому, що начальство не гадае, що може буты писля атаки. Можно чи удержатысь. За два роки фронтового життя я добре зразумив, що можно, а що нельзя браты приступом. Теперь ще хуже. Нагнали хлопчиков, думают с ними воюваты.

— Ты нас не оскорбляй, дядя Ваня, — обиженно ответил Костров. — Мы молоды, это правда. Но и среди молодых бывают герои.

— Не ты ли гадаешь буты героем? — засмеялся дядя Ваня, и его смех подхватили солдаты.

— А ты думал что — воевать не умею! — вспыхнул Костров.

— Ого!.. Дывись-ко як распетушился! — продолжал шутить дядя Ваня. — Того и гляди на штык посадит, як Козьма Крючков.

Громкий смех вырвался из окопа, солдаты смеялись на шутку дяди Вани, а Костров готов был броситься на него и вцепиться в черную бороду, вырвать большие усы.

— Не к месту шутки, ребята, — спокойным голосом произнес Иванов, — а ты, дядя Ваня, зря нападаешь на парня.

— Та як же, хиба мени ни обидно. Я старый вояка, а у него еще мамкино молоко на губах... А ще хто я!..

— Он скоро получит за усердие деревянный крест! — крикнул Денисов дяде Ване и засмеялся.

— Иван Миронович! — хлопнув по плечу дядю Ваню, с укором в голосе сказал Иванов. — Волос седеет, а ты с парнем связываешься.

Дядя Ваня опустил голову вниз и отцовским голосом произнес:

— Да ведь я в шутку, Иванов, жаль мени хлопцев. Ни за що гинут.

Вечером дядя Ваня подошел ко мне и встал в промежуток с Кудиновым.

— Хлопец, — заговорил он, — твий товарищ того... Горячь больно.

— Это кто, дядя Ваня?

— Костров-то, кажу, як на меня бросился.

— Напрасно обижаешься, дядя Ваня. Паша очень хороший и добрый товарищ. Оба вы погорячились...

— Я це бачу, що вин добрый хлопец. Но як же, посуди сам, колы вийна опротывила за два роки и дывитысь на нии ни хочется, а вин ще заступается...

— Не за войну он заступается, дядя Ваня. Нет... Сам за себя. У него странный характер!..

Кр. 20.241
Ивановская обл. библиотека Кр. обл. экз.

3

Наступила зима. Обнищалая, оборванная, голодная русская армия отступала, осыпаемая германскими снарядами.

Не имея поддержки с тыла, наш полк не в силах был удерживать

участок фронта. Артиллерия осталась без снарядов, солдаты без патронов, кухня без провианта. А на станциях железных дорог стояли сотни эшелонов с военными припасами и провиантом. Они становились добычей немцев. В войсках с каждым днем нарастало негодование. Усталые и голодные солдаты бранили командование...

Когда требовались патроны, на фронт присылали сухари. Когда солдаты по нескольку дней сидели без хлеба — привозили патроны. Вся эта неразбериха еще больше озлобляла солдат. Многие, рискуя жизнью, дезертировали с фронта.

И в моей голове стали зарождаться мысли об ужасах и бедствиях, что приносит война. Я чаще и чаще стал задумываться над этим. Беседы со старыми солдатами — Ивановым, Кудиновым и дядей Ваней помогли мне во многом разобраться. Я начинал многое понимать.

В январе 1917 года наш полк остановился в небольшой деревушке на отдых. Солдаты теснились в халупах, толпились у костров, ловили вшей в провонявшей от пота одежде.

Я и Костров Паша в халупу не попали и развели костер в крестьянском сарае. Огонь привлек и других солдат. Паша снял гимнастерку и, размахивая ею над пылающим костром, приговаривал:

— Погибай, вшивое войско, жарься, анафема. Эх, если бы это стадо божье генералу за шиворот, — воевал бы по всем правилам!..

— Русским генералам только со вшами и воевать, — отозвался бородатый запасник.

К сараю приближался фельдфебель.

— Тише, ребята, Шаргунов идет, — остановил смеющихся Костров. — Этот защитник царя и отечества... настоящая сволочь!..

Солдаты смолкли, и, сморщась от едкого дыма, занялись своими гимнастерками.

Шаргунов встал у костра, протянул вперед корявые волосатые руки, запасник Миронов поспешил подставить ему чурбан, услужливо сказал:

— Присядьте, погрейтесь, господин фельдфебель.

Другой солдат, почесывая за пазухой, робко произнес:

— Эх, в баньку бы, господин фельдфебель... Не знаете, когда поведут?

Фельдфебель оглядел говорившего, выдержал паузу и грубо пробасил:

— Выдумал тоже... После бани и к бабам захотите.

— Ну уж нет, господин фельдфебель, не того теперь. Не время...

Говорившего прервал спокойный и уверенный голос:

— Не понутру нам война-то, ох, не понутру! — Все оглянулись. Облокотившись на ствол винтовки, позади всех стоял Николай Сурков.

Сурков спокойно смотрел на удивленных его смелостью товарищей и, не обращая внимания на присутствие фельдфебеля, продолжал:

— ...Сколько зла принесла она! А зачем, я спрашиваю?

Сурков повернулся лицом к Шаргунову и замолчал, как бы выжидая ответа.

Фельдфебель встал, повернулся широкой спиной к огню.

— Это у тебя что за разговоры? Забыл, где находишься?

— Как можно забыть! Немецкие снаряды напомнят враз, где мы, — насмешливо ответил Сурков.

Фельдфебель, сжимая кулаки, гневно заорал:

— Встать, смирно!.. С кем говоришь?..

— Говорю?.. — спокойно издевался Сурков. — Говорю с ротным фельдфебелем, Шаргуновым.

Глаза фельдфебеля сощурились. Поведение рядового выходило далеко за пределы дозволенного и являлось неслыханной дерзостью.

— Мерзавец! Да я тебя, негодяя, в штаб отправлю!.. — истерично заорал Шаргунов.

Костров Паша не выдержал... Быстро подтянув брезентовый патронташ, он встал позади фельдфебеля. В правой руке Паши дрожала винтовка.

Все молчали. Задыхаясь от бешенства, Шаргунов готов был раздробить Суркову голову... Но в это время в конце деревни раздался резкий сигнал...

— Тревога!

Поднялась суетня. Тушили догоравшие костры. Из сараев и халуп, застегивая на ходу шинели и подтягивая ремни патронташей, выбегали солдаты.

— Ладно, с тобой мы еще поговорим, — угрожающе бросил Шаргунов.

Паша рванулся к Суркову. Тряс его за руку и осыпал бессвязными восторженными восклицаниями:

— Молодец! Спасибо! Здорово ты его отделал...

Сигнал повторился. Солдаты строились.

— Ну, Коля, прощай! — крикнул Паша. — Мы еще, я думаю, встретимся и после боя!..

Перед каждым выступлением на передовые линии мы прощались друг с другом. Неровен час, может кто из нас и не вернется из боя. Пожав друг другу руки, мы пошли строиться.

Выстроившись, полк тронулся в боевом порядке опять к передовой позиции.

4

Проходили дни, недели, месяцы. Наступил март 1917 года. Наш полк находился в окопах. Лениво падал мягкий снег. Свинцовые тучи заволокли небо.

По всему фронту стояло затишье, стрелять не приказано. Солдаты, вытянувшись во весь рост, стояли цепью вдоль кривой линии окопа. В отверстиях, проделанных в снегу на окопной насыпи, торчали штыки.

Настроение солдат было тревожное. Из тыла приходили сообщения, что в столице неспокойно. Солдаты перешептывались. Каждая новость быстро разносилась по цепи. Офицеры, прислушиваясь к солдатским шопотам, были настороже, покрикивали, требовали дисциплины. А тревога между тем нарастала с каждым часом.

Костров Паша и Сурков Коля незаметно исчезали по ночам из окопа. Возвращались утром, молча становились на свои места. Как мы узнали после, они уходили на совещания. На фронт приехали солдаты от имени петроградских рабочих. Они призывали фронтовиков не воевать с немцами, начать братание.

О свержении самодержавия мы узнали в половине марта. Весть о февральской революции пришла и к нам, в сырые окопы. С неописуемой радостью встретили мы официальное сообщение о свержении самодержавия.

Но Временное правительство выпустило манифест, в котором призывало фронтовиков поддерживать порядок и быть в боевой готовности.

Солдаты в ответ кричали: «Немцы не враги! Долой войну! Довольно убийства! Братайся!»

Никакая сила муштры в царской армии не смогла успокоить взбунтовавшееся море солдат. На штыках взлетали вверх солдатские папахи. Над окопами взвивались белые флаги. Вчерашние «враги» протягивали друг другу руки, целовались.

— Камрад, не будем стрелять! — говорили наши.

— Нихт... Не будем, — отвечали немцы.

Русская махорка, немецкие сигары издавали облака дыма над окопами.

В полках и ротах организовывались солдатские комитеты. Солдаты не подчинялись офицерам. Дисциплина падала с каждым днем.

В одиночку и партиями солдаты начали дезертировать с фронта.

А время катилось вперед. Грело солнце, бежали ручьи, колокольчиком звенела вода, заливая окопы, блиндажи, траншеи. Пели жаворонки, просыпался лес. Наступала весна. Радостью горели ветрами овеянные солдатские лица.

— Конец! Конец кровавой бойне! Долой войну! Домой, домой!.. — слышалось каждый день.

— Камрад! — кричал Паша Костров немцу. — В России революция. Понимаешь? Солдаты буб-бум правительство! Ну, как это по-вашему?..

Немец кивал головой и быстро отвечал:

— Я, я, камрад, царь капут...

Костров, Иванов и я собирали русских солдат, шли туда, где было больше немцев, и при помощи жестикуляции пытались растолковать, кто наш враг. Показывая на русского и немецкого солдата, мы говорили:

— Мы не враги, а враг тот, кто заставил нас убивать друг друга. Капиталисты наши враги.

Немцы смеялись, смеялись и русские,—они понимали друг друга.

Каждое событие нового дня для меня было новостью. Прислушиваясь к разговору старых фронтовиков, мы, молодежь, черпали новые знания. И те мечты, которыми я горел несколько месяцев назад, желая победы русской армии, рассеялись.

Настало лето. Все еще молчали батареи, на дулах были натянуты

чехлы. И вдруг словно громом поразило прилетевшее известие: «В Буковине по приказу Керенского началось наступление».

Немцы покинули нас и ушли в свои окопы. С пушек снимались чехлы. Заряжались винтовки. Над фронтом опять нависла гроза.

В конце июля 1917 года вновь зарокотали пушки, затрещали пулеметы. Немцы перешли в наступление. Русские с неохотой, отбиваясь, отступали в тыл.

5

Рига в руках немцев. Литву и Латвию заполнили пруссаки. Немцы двигались вдоль побережья Балтийского моря, угрожали Эстонии и Финляндии.

Русско-балтийский флот был бессилен задержать немецкие дредноуты и крейсера, которые, охватив кольцом остров Эзель, почти без боя высадили десанты. Войска спешно приближались к дамбе, соединяющей остров Эзель с островом Моон.

С падением этих двух островов возрастала опасность вторжения немецкого флота в Финский залив. Поэтому Временное правительство во главе с Керенским решило всеми силами защищать острова. К островам отправлялись два крейсера — «Гражданин» и «Слава»— последняя гордость русского флота. Из Гапсалу двинулись военные и пассажирские пароходы, нагруженные пехотой для защиты островов.

Утром второго октября (по старому стилю) наш полк прибыл в Гапсалу для отправки на остров Моон. Целый день грузили на пароход аммуницию, снаряжение, продовольствие и лошадей.

В конце дня военный корабль, покачиваясь, отчалил от пристани. Над морем повисли тучи. Дул пронизывающий ветер. Он врывался в трюмы и со свистом носился по палубе.

Волны Балтийского моря с шумом мчались нам навстречу и с грохотом разбивались о стальную броню корабля.

Медленно наступала ночь. Далеко в море гремели раскаты орудий, огненные языки прожекторов разрезали мглу.

Палуба и трюмы были забиты солдатами. Без всякой надежды на победу они ехали на остров.

Сердце невольно сжималось. Мысли уносились к родным берегам... А корабль мчался в ночную тьму, навстречу смерти.

Рядом со мной стоял Костров Паша. Он как будто не слышал далекого рева орудий, не видел ярких лучей прожекторов. Молодой и стройный, он застыл на месте.

Сурков Коля молча сидел на сложенном в кольцо канате. На коленях у него лежала винтовка. Он также был погружен в тяжелые размышления.

Рядом с Сурковым на том же канате, спина к спине, сидели Кудинов и дядя Ваня. Кудинов сжимал свою винтовку с двадцать одной царапиной на прикладе, с тоскою смотрел потухшими глазами в синеву моря. Дядя Ваня, облокотившись на коленки, сжимал ладонями

свое волосатое лицо. Немного поодаль стоял Иванов. Он стоял, опустив голову вниз, глядел в кипящие у борта парохода волны.

— Паша, — первым заговорил я. — Слухи есть, что сегодня пойдем в наступление, в бой с немецким десантом...

Паша вздрогнул, его пальцы судорожно сжали ствол винтовки. Сурков встал и подошел к Паше.

— В бой?!.. С кем в бой?.. — растерянно спросил Паша.

— Как с кем?.. Ты разве не видишь, что нас везут на остров Эзель биться против немцев. Присягу новому правительству принимали, опрокинуть немцев в море обещали.

— К чорту присягу!.. — гневно произнес Паша. — И в бой не пойду, а если и пойду, стрелять не буду! Давно ли с немцами братались?

Обернувшись лицом к нам, он продолжал вполголоса:

— Я думаю о другом... Скоро мы окажемся оторванными от материка, не будем знать, что делается в Петрограде.

Оглянувшись, Паша проговорил шопотом:

— А там неспокойно! Временное правительство неустойчиво. Надо быть на-чеку и нам.

— Н-да... — протянул подошедший Иванов, — на-чеку-то мы будем. Но этого еще мало. Если бы нам удалось взбунтовать весь гарнизон острова, обезоружить офицеров, начать вновь братание с немцами!

Иванов, положив одну руку на плечо Паши, другую мне, продолжал.

— Поработаем! В нашем полку также неспокойно. Солдаты не хотят воевать. Довольно одного сигнала, и весь полк восстанет.

— Но есть еще патриоты, — возразил Паша, — дурачье, верят в русскую победу. Наш фельдфебель Шаргунов агитирует: «война до победного конца», и многие верят ему...

При напоминании о Шаргунове Сурков сжал зубы, сказав:

— Это верно, Паша, патриотов много, но и нас не мало. Будем верить в свою силу и волю. Поработаем среди солдат. Они поймут. А с Шаргуновым я еще посчитаюсь...

Ночь висела над морем. Корабль подходил к пристани Куйвас.

На западе ухали пушки. Рвались голубые ракеты.

В глухую полночь корабль встал на якорь у пристани. Без шума и крика, не зажигая огней, выходили мы на пристань. Партиями отправлялись на берег, строились поротно. Спотыкаясь о камни, падая, двинулись вперед.

Вздрагивала земля от рвущихся тяжелых снарядов... От сильного ветра сосновый лес гулко стонал. В темноте дремали эстонские халупы.

Извиваясь змейкой, стиснутое с двух сторон лесом, белело шоссе. Шуршал песок под солдатскими сапогами, позвякивали котелки. Слышалось тяжелое дыхание.

Тоска и боль щемили сердце. Винтовка и ранец оттягивали плечи.

Полк шел походным маршем.

Вскоре остановились на небольшой поляне. Здесь нас разбили побатальонно. Проверили количество патронов, роздали ручные гранаты. Затем батальоны направились к передовой линии.

Мутный рассвет не давал возможности ориентироваться. С моря поднимался густой туман, свистели снаряды и с треском рвались в сосновом бору.

Наша рота расположилась в деревушке. Солдаты заняли халупы, брошенные хозяевами.

Утомленные переходом, бессонницей, солдаты падали на пол и засыпали.

Лишь только туман поднялся вверх, в заливе между двумя островами показались немецкие миноносцы и крейсера. С их палуб рвались клубы серого дыма. Зарокотала тяжелая морская артиллерия. Мишенью была наша деревня. Запылали в огне эстонские халупы...

Нас выгнали на линию огня. Впереди виднелась километровая дамба, соединяющая два острова сухопутным движением.

Паша, согнувшись, прыгнул в блиндаж. Я за ним. В нескольких шагах от нас разорвался снаряд. Меня отбросило в сторону.

Придя в себя, я увидел перед собой бледного Пашу. Рядом лежал Сурков, полузасыпанный землей.

Неподалеку валялись человеческие ноги и клочья разорванной шинели.

Увидя меня невредимым, Паша подбежал:

— Что, здорово шарахнуло?

Его слова я еле разобрал. В голове шумело...

Я отделался контузией, а Сурков был легко ранен в левую руку.

Немцы долго не решались итти в открытое наступление через дамбу, соединяющую острова Эзель и Моон. Они хорошо укрепились на противоположном берегу, под прикрытием соснового леса. Наши окопы были расположены на плоскогорьи и были на виду у немцев.

До позднего вечера морские орудия обстреливали побережье. У нас не было артиллерии. Ответить противнику было нечем. Русский флот ушел в Гельсингфорс. Крейсер «Гражданин» последним покинул зону военных действий и тоже скрылся. Второй крейсер, «Слава», подстреленный, сел на мель вблизи острова. Матросы на шлюпках выбирались на берег. Часть их присоединялась к нам, — другие ждали исхода военных операций на берегу моря.

Наступала вторая ночь. Засверкали ракеты. В черном небе рассыпались лучи прожекторов. Над головами лопалась шрапнель. Мы стояли в незащищенных окопах, ждали смерти.

На другой день, как только рассвело, наша рота выступила к дамбе.

Почти одновременно и немцы повели наступление с противоположного берега. Прикрываясь пулеметным огнем, они рассыпались по дамбе. Обстреливали нас из автоматических винтовок.

Первая контр-атака была отбита. Немцы отступили под свои прикрытия. Но вдруг с левого фланга загрохотали немецкие пулеметы. Наша цепь дрогнула. Блеснула мысль: мы окружены!

Началось беспорядочное отступление. Наши солдаты метались во все стороны.

Немцы рванулись вперед, ураганным огнем косили бегущие в панике наши цепи.

Теперь уж никакая сила не могла остановить русских. Они рассыпались по лесу, оттесняемые немцами с двух сторон.

Пристань Куйвас, на которой высадились вчера, была в руках немцев. Положение становилось безвыходным. Стальным кольцом неприятель сжимал наши войска.

Осенняя ночь висела над островом. Моросил дождь. Увязая по колено в болоте, насквозь промокшие, Паша, Сурков и я с трудом продвигались вперед, дальше от грохота пушек.

Лишь на берегу моря офицерам удалось остановить солдат. Отступать дальше уже было некуда. Выставили посты. Костров Паша быстро подошел ко мне:

— Идем!

— Куда?

— Ближе к офицерам.

Ротный пытался привести в порядок роту.

— Стройся! — надрываясь кричал он.

Солдаты не подчинялись команде и стояли вольно, кучками. Паша крикнул:

— Не будем строиться! Довольно! Долой войну!

Солдаты заволновались.

— Немцы такие же рабочие и крестьяне! — продолжал Паша. — Зачем убивать друг друга?

Взбешенный ротный выхватил саблю и, потрясая ею в воздухе, быстро шагнул к Кострову. Я взял винтовку на изготовку. Но в этот момент Паша прыгнул назад, штык его винтовки блеснул в воздухе, грохнул выстрел.

Офицер, качнувшись, рухнул на землю. Сабля его со звоном полетела по крутому косогорью к морю.

Минута мертвой тишины. Стало слышно, как билось свирепое море о берег. Где-то далеко гремела артиллерия.

В руках Суркова дрожала заряженная винтовка. Воспаленными глазами он искал Шаргунова и, не найдя его, крикнул солдатам:

— Товарищи! Довольно воевать! В землю штыки! — и первым вонзил свой штык.

Запыхавшись, к нам подбежал Иванов. Он весь дрожал:

— Товарищи, брататься! — прозвучал резкий голос Иванова. — Выбрасывай белый флаг!..

На древке взвился белый флаг.

На востоке загоралось утро. Где-то с правой стороны рвались бомбы. Там дрались, отступая с боем, казацкие части. Непонятное чувство овладело мною. После контузии в ушах звенели колокольчики, в голове шумело. В эту минуту я совершенно не подумал о том, что может быть через полчаса. Пораженный происшествием, я еще стоял, крепко сжимая винтовку, с широко раскрытыми глазами.

— Паша!... — вдруг вырвалось из моей груди. — Зачем, зачем

бросать винтовки?.. — И, не ожидая ответа, обернувшись к роте, крикнул:

— Товарищи, в штаб надо!.. Пойдем в штаб полка, обезоружим офицеров!..

— Поздно... — подходя ко мне, грустно проговорил Кудинов. Он бросил винтовку, сорвал георгиевский крест с груди и швырнул его в сторону.

Я оглянулся. Рассветало... К берегу подходили немецкие броненосцы. Из леса высыпала конница. Саморазоруженный полк наш был оцеплен немцами.

— Паша, — спросил я, — значит в плен, сдаемся?

Лицо Паши исказилось. Глаза вспыхнули и потухли. Сдвинув фуражку на лоб, он нервно махнул рукой.

— В плен!..

Иного выхода для нас не было. Защищать острова одними винтовками, без поддержки артиллерии, было бессмысленно, да и отступать некуда, кругом бушевало море. Кроме того, изнуренные войной солдаты не хотели больше воевать. И сорокатысячный гарнизон острова Эзель-Моон сдался в плен со всем обозом, фуражом и продовольствием.

Шестого октября 1917 года нас погрузили на пароход и отправили в Германию.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Недалеко от Данцига, вдоль опушки соснового леса, раскинулся лагерь Черск. Низенькие бараки с маленькими оконцами, словно вдавленные в землю, издали наводили страх. Каждого из нас волновала одна мысль: «Неужели будем жить в этом лагере?»

Рано утром тринадцатого октября нас партиями по шестьдесят человек, под руководством капралов, перегнали из Данцига в этот лагерь.

Тысячи русских военнопленных, согнанных сюда со всех фронтов, должны были проходить карантин в этом страшном лагере смерти. Много наших солдат погибало от холода и голода. Рядом с Черском вырастал другой лагерь — лагерь мертвецов с тысячами братских могил.

Лагерь, разместившийся на квадратном километре, был разбит на блоки. Каждый блок в пять бараков обнесен высокой стеной проволочного заграждения. Пленные могли общаться только с людьми своего блока.

При разбивке наша команда была назначена в десятый блок. Одни за другими проходили мы бесконечные колючие линии заграждений. Всюду сверкали каски и штыки часовых.

Молча, с глубокой тоской в сердце, спускались мы по земляному откосу в барак. Сырой и затхлый воздух рвался навстречу в откры-

тую дверь. В бараке стояло зловоние от гнили и плесени. С потолка крупными каплями падала вода.

Люди усталыми бросались на побеленные известью нары, на которых недавно спали русские, отправленные на работы, — на этих нарах и мы должны спать.

Я с Костровым и Сурковым расположился посреди барака на голых нарах.

Паша, бросая вещевой мешок в угол, присел на краю нар. Сурков, держа за плечами потрепанный ранец, посмотрел на черный закоптелый потолок, сырые заплесневевшие стены и покоробленные доски нар и опустил потухший взгляд в земляной грязный пол.

Левашов с худым и бледным лицом, первым забравшись на нары, сказал Суркову:

— Погибли молодость и жизнь!

В глазах его сверкнуло отчаяние. Всхлипывая по-детски, Левашов закрыл глаза ладонями, повернулся лицом вниз, не ожидая ответа.

К нему подошел Кудинов.

— Перестань, Митя! Останемся живы — вернемся на родину.

— После этих пыток мы уродами вернемся домой. Нет, я не выдержу!.. — От сдерживаемого плача плечи Левашова судорожно вздрагивали.

— Не суди так, Митя, — заговорил Сурков, вынимая последний сухарь из ранца, — на фронте не погибли, выдержим и здесь. Война скоро кончится. Придет время, будем бить настоящего врага, виновника всех наших бед... Встань, подними голову. На сухарик, съешь... Последние кончаю... вместе голодать будем...

— Слышал, — уже тихо, как бы кого опасаясь, продолжал Сурков, — что говорили немецкие матросы, когда мы ехали Балтийским морем? Что и они скоро последуют примеру русских. Свергнут самодержавие. Если это свершится, мы пойдем им помогать...

Митя кивнул головой.

Я подошел к Левашову и посоветовал ему отдохнуть. Он устал. А потом пригласил Пашу обойти свой блок, познакомиться с людьми и местом.

На обед привезли болтушку из костяной муки, выдали по сто граммов хлеба на человека.

Проголодавшиеся люди пили горячую болтушку прямо из котелков, желая хоть этим согреть продрогшее тело.

Паша Костров подговорил конвоира и обменял последнее белье на хлеб, поделился с нами.

На утро нам дали по кружке ячменного кофе без хлеба и сахара и в семь часов погнали в лес корчевать пни. Мы работали весь день. Только поздно вечером, усталые и голодные, мы возвратились в сырые бараки и легли спать на голые нары.

...Так шли недели. Голод становился невыносимым. Многие, не выдержав, умирали. Лагерь мертвецов пополнялся изо дня в день.

Вечером двадцать пятого октября, украдкой от коменданта, в барак пришел конвоир-баварец, тот самый, у которого Паша выменял

хлеб на белье. Он сообщил нам неслыханную новость: в России революция. Керенский скрылся. В Петрограде идут бои.

Мы были поражены, обрадованы. Перебивая друг друга, мы стали расспрашивать его, как, что?.. Но баварец, имея самые скудные сведения, не мог нам ничего хорошенько растолковать. Повторял одно:

— Керенский капут! Ленин война не хочет... Конец бум-бум!.. Русь домой!..

Этот маленький человек, баварский солдат, «враг России», в своих кратких словах так много принес радости нам, несчастным пленникам, что мы не спали почти всю ночь. Он вместе с нами радовался свержению буржуазного правительства в России. Прощаясь, он крепко жал наши руки. Уходя, приветственно крикнул:

— Русь гут камрад! Буржуй капут!

Было еще темно, когда загудел колокол на подъем. Люди нехотя вставали на работу. Паша соскочил с нар на мокрый пол. Глаза его горели, на опухших щеках вспыхнул румянец.

— Не пойду!.. Не пойду!.. — закричал он. — Товарищи, не пойдем на работу! Голодным лучше в бараке умереть, чем в лесу! Хлеба, пусть дают хлеба! В России революция! Конец войне!

Люди смотрели на Павла, не решаясь сойти с места. Они поглядывали друг на друга. Где-то в глубине сердца у всех накипала отчаянная злоба, эта злоба рвалась наружу...

Вбежал запыхавшийся пузатый немец.

— Русский, скорей получать кофе!

Паша в один миг подскочил к нему.

— К чорту твое кофе. Вода это. Давай хлеба, мы хлеба хотим!

Пузатый немец прищурил глаза.

— Хлеба? Нет хлеба, — с усмешкой по-немецки отвечал он.

— А нет хлеба, нет и работы. Понял?..

— Вас ист дас?

— Иди и скажи своему начальнику, что без хлеба русский не будет работать.

Немец скрылся.

Люди всего барака, одевшись, не двигались с места, словно их приковала к земле какая-то сила.

Не прошло и пяти минут, как в барак вошел комендант в сопровождении нескольких конвоиров.

— В чем дело? — надменно спросил комендант.

— Мы требуем хлеба, — выступая вперед, ответил Паша. — Мы издыхаем с голоду, не в силах двигать ноги, валяемся на голых нарах, живем хуже собак...

Кругловатое лицо коменданта побагровело. Глаза его быстро забегали. Он шагнул к Паше.

— Вам хлеба?..

— Да, хлеба! — отвечали пленники.

— Мы истощали, а работа тяжелая! — сказал Паша, выступая вперед. За ним двинулись все пленные.

— Стой! — гневно крикнул по-немецки комендант и, подойдя к Паше, спросил: — Так тебе хлеба? Людей бунтуешь, скотина!

Резкая пощечина свалила Пашу с ног. Я бросился к нему...

— Стой! — скомандовал мне комендант.

Передо мною блеснули штыки конвоиров.

— Взять его! — сказал комендант, показывая на Кострова. Двое солдат подскочили к Паше и поволокли его. В эту минуту мое сердце разрывалось на части, я готов был броситься вслед за Пашей, вырвать его из рук конвоиров.

— Выходи строиться на работу! — продолжал кричать комендант.

Не выдержал и Сурков, он рванулся вперед.

— Стой, товарищи! Ни с места! Пусть дают хлеба или пулю!..

Сурков быстро обернулся к коменданту.

— Стреляй, палач!

— Взять его, — приказал комендант.

Конвоиры бросились к Суркову, но голодная масса, не выдержав, хлынула к двери и загородила дорогу.

Сурков скрылся в толпе. По сигналу коменданта внезапно явилось подкрепление. Заработали приклады ружей по спинам голодных пленников. Наконец, выгнали, построили.

— Бегом!

— Раз! Два! Три! Четыре! — командовал комендант.

Эта издевка мне напомнила царскую казарму, где нас готовили к войне.

Два человека упали. Их оттащили в сторону...

После тридцатиминутной гонки, оцепленные конвоем, мы пошли на работу. Левашов упал на дороге, троих увезли с работы.

Наступила ночь. Тяжелое порывистое дыхание, протяжные стоны раздавались то в одном, то в другом конце барака.

Левашов метался в горячке по нарам, хватался худыми руками и страшно стонал. Все его тело дрожало как в лихорадке. Он скрипел зубами. Сурков намочил водой полотенце и положил на жаркий лоб Левашову. Тяжелый стон стал вырываться из груди все тише и тише. В мучительной агонии Левашов скончался перед рассветом. Когда занималась поздняя осенняя заря, труп Левашова перенесли в лагерь мертвецов.

У Паши также была горячка. Он целый день просидел в комендантском каземате. На лице остались следы побоев. На героический поступок Кострова и Суркова обратили внимание люди всего барака. Пленники с томящей жалостью смотрели на Пашу, когда вечером его привели в барак из-под ареста с побитым лицом.

Миролюбивый, постоянно спокойный Кудинов втихомолку плакал, с отцовской заботливостью он ухаживал за Пашей, сам лег на голые нары, а своей шинелью укрыл Кострова.

У меня сильно кружилась голова, тошнило, но рвать было нечем. Я душевно страдал за Пашу, оказать же какую-либо помощь ему был бессилен.

2

Шаргунов также попал в плен на острове Моон. В тот момент, когда Костров убил ротного командира, Шаргунов скрылся. Сурков

искал и не нашел его. Последнюю пулю, хранившуюся для Шаргунова, Сурков бросил вместе со своей винтовкой.

В лагере Черск Шаргунов подделался к коменданту, устроился старшиной барака и водил одну из партий пленных на работу.

Шаргунов избегал встречи с нами. Особенно он боялся Суркова. Находясь в другом бараке, Шаргунов все время наговаривал коменданту про нас, как бунтарей среди пленных. Он сказал и то, что Костров убил офицера. Из-за него меня, Кострова и Суркова больше всех сажали под арест. Мы просиживали сутки в карцере на одной воде. И Сурков поклялся при первой же возможности уничтожить Шаргунова.

Постепенно, день за днем, прошел месяц. Ударил мороз, мерзлую землю покрыл снег. Над лагерем завывала метель. В щели и разбитые стекла врывался ветер, неся холодные струи морозного воздуха вместе со снегом. Коченея от холода, мы, голодные, жались друг к другу, доживая последние дни карантина.

Перед отправкой на постоянные работы нам был произведен осмотр. Началось с бани, куда загоняли по пятьсот человек. В первой комнате раздевались и сдавали одежду в дезинфекцию. По часу стояли в очереди к парикмахеру и партиями по пятнадцать человек шли под душ, а потом, голые, просиживали в огромной холодной комнате по два и три часа в ожидании одежды из дезинфекции. Голые люди мерзли, дрожали, не попадая зуб-на-зуб.

Получив одежду, надо было итти на врачебный осмотр. Там снова раздевали и уже в десятый раз делали уколы от тифа.

При осмотре пленные жаловались врачу на истощение и упадок сил, на побои, нанесенные конвоирами, но врач был к ним глух и нем. Он только кричал:

— Русь, язык! Дай язык!

Сгорбившись, уходили мы от врача. В коридоре встречал крикливый комендант:

— Хорош русский! Хорош! Больных нет, пойдешь работать!

Выстраивали нас вдоль бараков в две шеренги лицом к лицу. Комендант тщательно осматривал каждого: пришит ли номер на шинели, есть ли желтая нашивка на рукаве. Он тросточкой выкидывал лишние вещи из наших мешочков.

Скрипел под ногами снег. Мороз жалил лицо и руки. Забирался под выжженную дезинфекцией шинель, щемил истощенное тело.

Не выдерживая этой ужасной пытки, люди падали как сонные, зарываясь лицом в снег. Их поднимали прикладами и гнали в бараки. После осмотра строились по четыре. Раздалась команда:

— Бегом!

Напрягая последние силы, я старался удержаться на ногах, но они отказывались служить. Голова кружилась, в глазах темнело. Качаясь, я вышел из строя. Ко мне с криком подбежал комендант, брызгая слюной в лицо, кричал:

— Ты что, собачья кровь?!..

От сильной пощечины у меня посыпались искры из глаз, я упал

на снег. Не успел опомниться, чьи-то руки подхватили меня и поволокли.

Когда я открыл глаза, в бараке уже было темно. Только глухие да протяжные стоны, порывистое дыхание нарушали страшную тишину ночи. Кто-то шептал молитвы. В другом конце барака раздавались ругань и проклятья. Лежать было тяжело, от боли ломило спину. Сердце усиленно билось. Голова горела. Вдруг в темноте я почувствовал, как чья-то холодная рука легла мне на лоб. Послышался дрожащий голос:

— Не спишь?

Страшная жажда душила мое горло, сквозь стиснутые и сухие губы я через силу попросил воды.

Паша дал мне напиться.

— Как себя чувствуешь, плохо? — спросил он.

— Тяжело...

— Сволочи!.. — сквозь зубы выдавил Паша. — Не заморят голодом, добьют прикладами.

В конце декабря 1917 года, как-то на рассвете нас выгнали из барака. Команда в триста человек погрузилась в вагоны. Скрипели от мороза буксы. Пленники жались в своих лохмотьях, сбиваясь в кучи.

Рано утром мы покинули страшный лагерь Черск. Поезд мчался на юг. Он вез сотни полумертвецов в неизвестное будущее.

Еще в 1916 году из русских военнопленных немцы начали составлять железнодорожные батальоны. В число этих батальонов попали и мы. Нас отправляли на французский фронт чинить дороги.

Быстро мелькали занесенные снегом деревушки. Одна за другой оставались позади станции, загроможденные военными составами поездов. Кое-где на перронах встречались пассажиры, рабочие-железнодорожники. Они молчаливо провожали нас растерянным взглядом. Судя по их лицам, война тяжелым бременем давила на всех.

Вот уже остался позади город Люксембург, а поезд все мчится вперед. Вдруг он с размаха врезался в гору и закружился в ущельях Эльзас-Лотарингии.

Становилось немного теплее. Исчезали снежные равнины и черные силуэты эльзас-лотарингских гор, впереди расстилалась бесснежная марнская земля, заросшая бурьяном и мелким кустарником.

Поезд все мчался вперед, к французскому фронту. Уже слышались далекие отзвуки артиллерийского гула.

3

Мороз сковал землю, покрыл ее извилистыми трещинами. Далеко за горизонтом марнских полей гремели раскаты орудий, слышался непрерывный вой канонады. Под куполом неба клубился черный пороховой дым, он мешался с облаками, застилал весь запад.

В полдень наш эшелон остановился на французской станции Саранци, захваченной немцами. Пленники высыпали из товарных ваго-

нов на перрон и по приказу конвоиров-пруссаков начали строиться. В изорванных, грязных, пожелтевших от дезинфекции шинелях стояли мы истомленные, неся на лицах тяжелый отпечаток бедствий и голода. По команде лейтенанта, оцепленные усиленным конвоем, мы двинулись в путь. Шли медленно, с опущенными головами. Остановились у полуразрушенного четырехэтажного дома, который, как оказалось, и был предназначен для нас. Всюду были разбитые дома, изрытые снарядами поля, — кругом пустота и безлюдье.

Бывшая усадьба французского помещика, в которой нас поместили, находилась на берегу небольшой быстроводной речонки. Четырехэтажный дом с черепичной крышей был обнесен каменной стеной, а поверх ее — проволочным заграждением. Из окон третьего этажа, к северу, виднелась узловая станция Саранци, за ней отлогие горы, покрытые черным лесом. Слева, в четверти километра от нас, на небольшой возвышенности стояла с разрушенными домами деревня Морвилль. На юг, позади нашего дома, тянулись горы, из-за них доносился глухой рев канонады, — там был франко-германский фронт.

Все триста человек не могли поместиться в комнатах. Большую часть людей разместили на чердаке и в конюшне, в которой были построены сплошные нары. Костров, Сурков и я поселились в полутемном чердаке под дырявой черепичной крышей.

На другой же день, рано утром, нас выгнали на работу. Мы взрывали камень, носили шпалы, долбили кирками мерзлую землю. Прокладку железной дороги от города Мондмеды к фронту начали пленные бельгийцы, закончить ее должны были мы — русские.

Извиваясь между гор, железная дорога тянулась по берегу речки. Она имела для немцев большое стратегическое значение. По ней перебрасывали воинские части к фронту.

На территории нашего лагеря предполагался разъезд. Вот здесь-то мы с утра до вечера и планировали площадь. Снимали возвышенность, отвозили землю тачками и вагонетками на далекое расстояние, засыпали низины. Вслед за нами другая партия разносила шпалы, укладывала рельсы. По пятам шел паровоз, подвозя материалы.

Используя рабский труд пленников, немцам дешево стоила постройка железной дороги.

А над землей, почти беспрерывно, стлался гул артиллерийского боя и, раздирая холодный воздух, часто проносились снаряды. Град металлических раскаленных осколков уже в тысячный раз поливал землю.

Изнуренные каторжным трудом, голодные, поздно вечером возвращались мы в свой лагерь. Набрасывались на ужин, — каждый получал четверть литра болтушки из костяной муки. И этому мы были рады.

Медленно тянулись дни. Сурков простудился, он кашлял день и ночь, харкая кровью. Лицо опухло, глаза потухли, — жаловался на сильную боль в ногах. Лагерный фельдшер лечил только хиной да иодом, никаких других медикаментов не было.

Желая скрыть свою слабость от товарищей, Сурков еще старался шутить и смеяться над еще более слабыми.

— Эх, дядя Ваня, не вешай носа, — говорил он, — скоро поедем на родину. Там поправимся. Советская власть о нас позаботится. Ведь это же наше — рабочее правительство!

— Тяжко так помираты, — глухим голосом отвечал бородатый дядя Ваня, — ще хочется пожиты при новой радянской владе. Доживу до цього, чи ни?..

Где-то совсем близко разорвался снаряд. Дрогнули стекла в чердачных фонарях. С полки со звоном упал котелок. Все замолчали.

— Опять начинают. С каждой минутой жди — взлетим на воздух, — проговорил Денисов.

— Да... — вздохнул дядя Ваня, — тако ж расстриливают вороги мою ридну Украину. Що сталося з моей хатою?..

— У тебя осталась семья? — спросил я дядю Ваню.

— Жинка и двое диток. Ще завсим малинькими булы, як меня забрали на вийну.

Кудинов, молча сидевший на нарах, быстро повернулся, упал вниз лицом и задрожал. Он плакал. Вероятно, напоминание о семье встревожило его. Еще на фронте, сидя в окопах, Кудинов рассказывал мне, что у него в деревне Орловской губернии остались жена и трое детей. После свержения самодержавия Кудинов мечтал получить землицы. «Эх, скорей бы кончалась война, — говорил он тогда. — Вернусь на родину и возьмусь за плуг».

Бомбардировка участилась. Снаряды рвались со всех сторон лагеря.

Никто из нас и не думал о сне. Усталые, раздевшись, мы лежали, зарываясь в лохмотья. Иные сидели на краю нар, прислонившись спиной к стойкам, прислушивались к канонаде.

К нам подошел Горячев и сел в ногах Паши.

— Слухи есть, — заговорил он простуженным голосом, — украинцев домой отправлять будут... Говорят, всю Украину оккупировали немцы.

— Отправят... на тот свит, скоро!.. — с горестью в голосе ответил дядя Ваня.

— Для них это легче, — добавил я.

— Мрут люди, — вздыхая продолжал Горячев, — как мухи. Работа рабская, а жизнь адская...

На минуту Горячев замолчал.

Это был человек среднего роста, с добрым сердцем. Его голубые глаза выглядывали из-под опухших век. С Горячевым мы познакомились только здесь, по прибытии в этот лагерь. С первого дня знакомства он произвел на нас большое впечатление, я питал к нему товарищеское уважение и симпатию. Костров и Сурков также полюбили его, а Денисов, помещавшийся с ним рядом, разделял с ним последние крохи... Если тот или иной из них достанет картофельных скорлуп, они жарили их на плите и ели вместе.

— Бежать надумал... — после некоторого молчания сказал Денисов. — Но куда бежать? На Восток? — надо пройти всю Германию. На западе — фронт. Скрываться здесь в лесах, запруженных немцами, опасно, подстрелят. Но я решил это твердо: при первом случае убегу.

— Эх, ушел бы и я с тобой, Митя, — заговорил Сурков, — тяжело здесь. Не могу. Ноги не двигаются. Сердце сосет, словно жаба, ломит грудь...

Сухой кашель задушил горло Суркова. Тяжело дыша, он замолчал.

Быстро наступала страшная ночь. Страшная потому, что бой все усиливался. С запада наступали американские, английские и французские войска. Немцы с упорным боем отдавали каждый шаг своего отступления. И небо в эту ночь казалось расколотым. Восток был погружен во мрак, дремал, а запад пылал в кровавом пожарище.

При каждом взрыве сорокадвухсантиметрового снаряда вздрагивал наш дом. Дрожали и мы. Грустное было настроение у нас, трехсот пленников.

— Господи, да скорей бы смерть наступала, — шептал мой сосед.

— Тут господи не при чем, — ответил Костров Паша, лежавший со мной рядом, с другого бока. — И помилования от него ждать нечего.

Мне было страшно, по телу пробегал озноб.

Но вот в окнах засверкали лучи прожекторов, над крышей загудели самолеты, где-то совсем близко взрывались бомбы, по крыше звякали металлические осколки, на нары сыпался мусор.

Я присунулся вплотную к Паше, натянул шинель на голову, стараясь хоть этим спрятать себя от смерти.

В коридоре нашего дома послышался шум. Застучали приклады. В комнату ворвались конвоиры.

— Русь, строиться скорей! — кричали они по-немецки.

Подталкиваемые конвоирами, кубарем катились мы по лестнице. Не успев опомниться, один за другим выскакивали босые, в одном белье на улицу, где встречал нас лейтенант, обжигая каждого «за нерасторопность» плеткой.

— Смирно! — командовал лейтенант. — Бегом!..

Полураздетый, босой бежал отряд от своего разрушенного жилища. В воздухе пахло гарью. Красные языки вспыхивали в темноте ночи. Горела узловая станция Саранци. Американцы нащупали ее и не скупились на снаряды.

Спотыкаясь о камни, падая, окоченевшие, с окровавленными ногами бежали мы в поле. А кругом ревело, грохотало, стонало.

Прибежали к оврагу. Скатываемся в него.

— Ложись! — кричит лейтенант.

Паша бросился на мерзлую землю, уткнул лицо в холодную траву.

Сурков тяжело стонет, под ним темное пятно теплой клейкой жидкости. Кровь струилась из его раненых ног. Я беспомощно упал рядом с Пашей; невыносимая боль щемила все тело. Паша лежал молча, лишь изредка судорожно вздрагивая.

Сзади незаметно к нам приблизился человек. Он подполз по-собачьи, на четвереньках. Это был конвоир Бецке. Старик, баварский крестьянин, был один из лучших конвоиров всего лагеря.

— Русский, холодно?.. Русский, болит?.. — несвязно лепетал он. — Русский, на, возьми!..

Бецке передал нам свою палатку и быстро исчез.

Сурков почти беспомощно приподнял голову. Костров и я поспешили к нему. Я обернул окровавленные ноги Суркова палаткой. Паша поддержал его голову.

— Паша, — чуть слышно шептал Сурков, — сгораю! Ох, тяжело... Болит сердце, воды, хочу воды!.. Конец! Паша, прощайте!.. Шаргунов...

Грохот артиллерии заглушил последние слова Суркова. Он тихо скончался на руках Паши Кострова.

Склонившись над трупом дорогого товарища, я горько заплакал, все тело содрогалось от рыданий. Я проклинал адскую жизнь и тех, кто терзал наши молодые, девятнадцатилетние сердца... «Прощай, прощай, дорогой товарищ, если хватит силы — мы отомстим за твою смерть» — прошептал я.

В сером рассвете утра возвращались мы с поля полураздетые и больные. Шли оврагами, между колючек шиповника к своему разрушенному жилищу. Артиллерийским огнем была снесена крыша дома, разрушены конюшня, кухня и кладовая с провиантом. С большим трудом удалось нам вынести свои вещи из-под развалин. Одеваться пришлось на дворе, на мерзлой, покрытой инеем земле. В этот день завтрака не получили. Ничтожные запасы провианта были уничтожены снарядами.

Денисов прихрамывал, он разбил о камень правую ногу и насилу надел сапог. Дядя Ваня тоже стонал от боли, дрожал от холода. Его вещи засыпало черепицей, шинель и одеяло достать не удалось. Я отдал ему свою палатку и, поддерживая за руку, шел рядом. Костров Паша, крепко сжав бледные губы и склонив голову на грудь, смотрел в землю. На его опухшем лице лежала печать боли и тоски.

Остановили нас на окраине деревни Морвилль. Справа, в низовине, догорала станция Саранци. После ночной бомбардировки она была вся уничтожена. Слева от полуразрушенных крестьянских хижин тянулись огороды, давно заросшие бурьяном. Кругом были пустота и запустенье.

4

Весь остаток зимы провели мы в этой разрушенной деревушке Морвилль. В конюшнях и сараях, неприспособленных для жилья, без света и тепла, валялись на мусоре, грелись в конском навозе. Целые дни работали на прокладке железной дороги. Немцы подгоняли нас как можно скорее докончить эту дорогу. Ели мы попрежнему болтушку из костяной муки. Собирали картофельные скорлупы, выброшенные из немецкой кухни, и варили из них суп. Мерзли, голодали и через силу передвигали опухшие ноги.

По всему западному горизонту днем стлался черный дым, беспрерывно грохотали пушки. Ночью красное зарево огненными клиньями врезалось в темно-голубое небо.

Американцы, французы, англичане и бельгийцы наступали. Немцы жестоко отбивались.

По мере отступления немцев и нас, пленных, отводили дальше в тыл.

Прокладку железной дороги к фронту пришлось прекратить. Неумолчная артиллерийская перестрелка заставила немцев перегнать нас в другой лагерь.

...В апреле 1918 года, когда леса уже одевались в зелень, нашу команду пригнали в деревню Бревилль.

Из трех бараков, кухни с кладовой и околотка с караульным помещением состоял этот лагерь. Прямо на север от проволочного заграждения, по скату горы, начинался молодой лес. Он опускался вниз к речке, а дальше, на другом берегу, поднимался опять вверх. Вправо, в восточном направлении у подножья лагеря раскинулась деревня Бревилль. Черепичные крыши домов, местами разрушенные снарядами, тонули в пушистой зелени фруктовых садов. Посреди деревни возвышался белый костел, занятый немецким лазаретом.

В шесть часов утра нас поднимали конвоиры.

— Скорей строиться! — кричали они.

Тяжело вставали со своего жесткого ложа пленники, зевая, продирали опухшие веки. Во всем теле чувствовались сильная боль и усталость. Молча становились мы в очередь за черпаком кофе из пережженного ячменя, жадно глотали горькую жидкость, потом строились на работу.

Окружив нас тесным кольцом штыков, тщательно считая и в сотый раз обыскивая с головы до ног, начинали выводить из лагеря. На дороге ставили по четыре и снова считали.

Взваливали на наши плечи кирки, лопаты, ломы, командовали «шагом марш». Страшно было смотреть: люди, измученные голодом, бледно-синие, походили скорей на тени, чем на бывших здоровяков.

От станции, расположенной ниже деревни Бревилль, среди широкой равнины проводилось грунтованное шоссе к фронту.

Эта дорога имела важное значение. Она связывала фронт с железнодорожной станцией и несколькими военными базами автотранспортного движения, которого у немцев было в изобилии.

Целый день мы копошились в земле. Динамитом взрывали кайенные скалы. Полупудовым молотом разбивали крепкие породы булыжника, грузили на вагонетки и отвозили товарищам, прокладывавшим мостовую. Другие партии подвозили песок и гравий, а вслед за нами каток шлифовал дорогу.

Работа начиналась с семи часов утра и продолжалась до трех дня без отдыха и обеда. В три часа дня нас гнали в бараки, выдавали суп из одних овощей пополам с грязью, так как овощи не мылись.

Голод был настолько велик, что всякое отвращение и страх перед заразой исчезли совершенно. Еще с прибытием в Бревилль, в углу лагеря, у проволочного заграждения, позади кухни мы нашли кучу гнилой соломы. Мы ее всю пересмотрели в поисках съестного. Находимое там — все поедалось: гнилые яблоки, лук, гороховые стручки, картофельная скорлупа.

После обеденного перерыва, с четырех часов дня, нас гнали снова работать — одну партию в лазарет резать дрова для немецкой кухни, а другую — на станцию разгружать вагоны.

Возвращались поздно вечером, получали ячменное кофе, голодные и больные ложились спать.

Денисов Митя и Тарасов Федя задумали убежать. О побеге они сообщили мне и Кострову Паше. И пятого июля, поздно ночью, когда лагерь погрузился в тяжелый сон, Денисов шепнул мне: «Прощай!» Я приподнялся на скрипучей сетке нар, разбудил Пашу. Мы поцеловались как братья, крепко пожимая друг другу руки, молча простились. Паша шепнул:

— Идите, если удачно — мы за вами...

Денисов и Тарасов исчезли в темноте ночи. У меня на глазах навернулись слезы. До утра не мог заснуть. Тысячи всевозможных дум путались в голове. Я тоже начинал мечтать о побеге.

На другой день, во время проверки, побег был обнаружен. Немцы подняли тревогу. Лейтенант сообщил в воинские части, расположенные в районе, чтобы задержали беглецов.

Нас в этот день под еще более усиленным конвоем сопровождали на работу.

Через три дня, после осмотра нас во дворе лагеря поднялась какая-то суетня. Люди бежали к воротам лагеря. Я вышел из барака и увидел, как в узкую проволочную калитку швырнули двух человек. Одежда на них была совершенно изорванная, измазанная грязью. Сквозь прорехи виднелось окровавленное тело. Я не сдержался, вскрикнул от ужаса, когда увидел обезображенные лица Денисова и Тарасова. Дрожа всем телом, я бросился к ним, но в этот момент в лагерь влетел, в сопровождении конвоиров, свирепый лейтенант. Конвоиры вырвали из моих рук мучительно стонавшего Денисова, ударив меня прикладом в грудь так, что я отлетел к стенке барака. Сбежавшихся людей разогнали. Лейтенант приказал конвоирам подвесить обоих к столбам за поднятые руки и поставить часовых.

Посредине двора, на глазах всех пленников, на вытянутых руках висели полуживые, избитые до потери сознания голодные товарищи.

Сердце мое разрывалось на части, глаза заливались слезами. В груди бушевали злоба и ненависть. И мы все, обезоруженные, лишенные всякой защиты и человеческих прав, склоня головы, полные ненависти, проходим мимо трагически умирающих в ужасных пытках товарищей, умирающих за то, что хотели уйти из страшного лагеря.

Когда солнце садилось за горизонтом и красные лучи заиграли кровавым отблеском в стеклах костела, — в это время к подвешенным товарищам подошел капрал и обрезал веревки. Денисов и Тарасов рухнули на землю.

Я и Костров бросились к ним.

— Стой! — крикнул капрал.

Мы остановились, дрожа всем телом, словно в лихорадке.

— Воды! — приказал он стоявшему часовому. Часовой, взбросив винтовку на плечо, быстро удалился. Вскоре он принес ведро холодной воды.

Капрал опустился на одно колено, нагнулся, чтобы послушать, дышат ли наказуемые, потом приказал солдату отливать их холодной водой.

Денисов вздрогнул, вытянулся и опять застыл в неподвижности.

— Воды! — опять вскрикнул капрал.

Солдат принес еще ведро воды и вылил на Денисова. Денисов вторично вздрогнул, открыл глаза и ничего непонимающим взглядом смотрел вокруг себя.

— Переводчик!

Из барака позвали переводчика. Капрал приказал перенести Денисова в околоток.

Не чувствуя под собой ног, я бросился к Тарасову. Но напрасно тормошил его тело, несвязно шептал, просил встать. Он лежал без движения, тело его уже похолодело. И я почувствовал страшную слабость в своем истощенном теле.

Над самым ухом я услышал сдавленный голос дяди Вани:

— Встань, хлопце, идемо в барак!

Дядя Ваня помог мне встать, опираясь на его руку, я побрел к бараку. Голова кружилась, мне казалось, что вершины соснового леса и костел с высоким шпилем повалились вниз, словно в бездну.

Целую ночь у меня была горячка. Дядя Ваня не отходил от меня, он несколько раз сменял компресс на моей голове. Перед утром стало легче, только страшно тошнило...

— Дядя Ваня... — прошептал я. — Где Паша?.. Как Денисов?..

— Ничего, Денисов жив... Ему лучше. Паша коло него.

— А Тарасов?

— Забрали, увезли...

Сердце вновь защемило, словно камень положили на него. Зловоние, наполнявшее весь барак, спирало дыхание. Я впал в беспамятство.

Три дня я пролежал в околотке. Костров Паша боялся, чтобы меня не схватил тиф, который свирепствовал во всех лагерях. Но на четвертый день я встал вместе с Денисовым. Нас выписали из околотка и направили на работу.

...После Октябрьской революции и разгрома германских войск на Украине отношение к нам, пленным, со стороны лейтенанта лагеря Шнека, фельдфебеля Альфуса и капралов изменилось в худшую сторону. Их свирепость доходила до неслыханных издевательств над нами.

В первых числах июля 1918 года мы закончили двадцатикилометровое шоссе и нас перебросили в деревню Вилон на уборку сена по широким низовьям реки Маас.

На сенокосах нас заставляли работать от темна до темна. Немцы спешили до отступления своей армии собрать сено и увезти его в Германию.

По пятам косарей двигались конвоиры, приговаривая:

— Скорей работай! Больше работай!

Мы косили, сушили, сгребали, носили сено в копны. Позади нас оставался ровный, со щетиной корней, выкошенный луг в полкилометра ширины. Слева между стройных тополей протекал голубой Маас. А впереди, насколько мог видеть глаз, колыхалась высокая желто-зеленая волнистая трава. За возвышенностями правого берега грече-

ли пушки. В летнем воздухе висел удушливый туман, и смрад от пороха и газа перемешивался с ароматом свежего сена.

Безжизненная деревушка Вилон, приютившись во впадине левого берега Маас, с черными, одиноко торчавшими в небе трубами наводила еще большую тоску и печаль. И такой уродливой, безобразной, варварски-жестокой и дикой казалась мне окружающая действительность.

В моей голове слабо зарождались мысли. Я думал о великом человеческом безумии, о раненых, убитых, изуродованных, замученных голодных людях. А где-то, совсем близко, в камышах, в глубине молодой листвы и цветов левого берега прекрасного Мааса раздавались песни соловьев. Каким вопиющим контрастом являлись они в этой обстановке!

— Скорей, скорей работай!.. — громкий окрик прервал мои размышления.

Я вздрогнул, схватил грабли и стал переворачивать душистое сено.

Ласковое и теплое солнце вот уже десятый день заходит впереди нас, за той возвышенностью, в которую упирается огромный луг Мааса, а мы, оставляя большое пространство позади, движемся вперед и не можем дойти до конца.

Чем сильней разгорался бой на фронте, тем скорей гнали нас с уборкой сена.

День и ночь грохотала прессовочная машина. Подъезжали грузовики и отвозили тюки сена на станцию.

На восемнадцатый день сенокоса мы уперлись в крутой берег. Здесь Маас, как бы рассекая на две части высокую гору, исчезает за поворотом.

После окончания сенокоса нас перебросили в лагерь Люппы опять на исправление шоссейных дорог, поврежденных снарядами.

5

...Чуть свет задребезжал колокол на подъем. Тяжело поднимаясь, мы выходили строиться. Над лесом низко мчались осенние облака. Дождь, начавшийся еще ночью, поливал бараки. По временам он переходил в ливень.

Продрогшие за ночь, голодные, кутаясь в изорванные палатки, коченея от холода, стояли мы по колено в грязи. Капрал по-немецки считал нас:

— Раз! Два! Три! Четыре!

— Двести! — крикнул он лейтенанту, когда кончил считать.

«Двести, — подумал я, и дрожь прошла по телу. — За один год плена из нашей команды выбыло сто человек. Они умерли от голода, замучены зверскими издевательствами... А эти, чудом оставшиеся в живых, двести человек на что похожи?.. Страшно на них посмотреть. Ветер качает из стороны в сторону. К ногам словно колодки привязаны, лица опухли, в глазах мерещатся желтые круги, головы тяжелые, как налиты свинцом».

Взвалили на наши плечи железные ломы, вновь построили, лейтенант крикнул:

— Пошли!

Грузно увязая в размешанной грязи, промокшие до ниточки, мы шли на работу в каменоломню. Старые и порванные палатки, выданные нам еще в Черске, за год превратились в грязные тряпки и нисколько не спасали от дождя. Шли медленно, коченея от холода. А с фронта доносились далекие отголоски бухающей артиллерии, казалось, этот день проведем не под обстрелом. Но только что вышли из лагеря, прошли не больше двух километров, как в воздухе зажужжали снаряды. Американская дальнобойная батарея двухразрывными снарядами открыла огонь по станции, расположенной впереди нас. Снаряды падали позади и с боков нашей команды.

— Товарищи! Остановитесь! — вдруг послышался слабый голос Иванова.

Колонна, как бы давно ожидая команды, остановилась.

— Да это же издевательство!.. — дрожа всем телом, посиневший от холода, продолжал Иванов.

— Скотина и та лучше живет!.. — поддержал Иванова Горячев.

Я и Костров Паша прошли вперед к рядам, где стояли Иванов и Горячев.

— В бараки ведите, камрад... — обратился я к конвоиру. Он пожал плечами, ответил:

— А что скажет лейтенант?

Видно было, что и солдаты с неохотой вели нас под снаряды, да еще в такую скверную погоду. Они сами, промокшие насквозь, ежились от дождя. Их жизнь также подвергалась ежеминутной опасности.

Прискакавший на лошади лейтенант обрызгал грязью передние ряды. Конвоирам он приказал загнать нас обратно в лагерь и построить вдоль бараков.

— Кто бунтовал команду?.. — наливаясь гневом, крикнул лейтенант, когда мы вытянулись вдоль бараков.

Сержант показал на Иванова и Горячева.

Я вздрогнул, обернулся в сторону Иванова и Горячева. Они стояли с бледно-желтыми лицами, опустив головы на грудь. Лейтенант, брызгая грязью, подъехал к ним и скомандовал:

— Два шага вперед!

Пошатываясь, вышли из строя товарищи. Лейтенант приказал конвоирам Иванова и Горячева, как зачинщиков отказа от работы, привязать к столбу так, чтобы руки их были вытянуты вверх, а ноги чуть не доставали земли.

Зная, что всякое сопротивление бесполезно и оно может еще больше озлобить лейтенанта, в распоряжении которого находилась вооруженная сильная охрана, Иванов и Горячев не сопротивлялись. Стиснув зубы, широко раскрыв опухшие веки, они смотрели на нас глазами, полными ужаса.

Нас всех по команде лейтенанта толчками поставили в строй, конвойные встали двумя шеренгами, одна сзади, а другая впереди нас. Взяли ружья наперевес, штыки поставили почти каждому из нас

один к животу, другой к спине и смотрели за каждым нашим движением, готовые одновременно с двух сторон проколоть каждого из нас. Разумеется, в таком положении каждая наша попытка к самозащите была безнадежной. Она могла бы лишь привести к немедленному избиению. И лишь поэтому мы были вынуждены стоять бездейственными зрителями истязания наших товарищей.

В строю мы стояли по колено в грязи ровно два часа. Иванова и Горячева после этой пытки сняли полуживыми, с посиневшими лицами и бросили в погреб. А нас, после двухчасовой стоянки, заставили бегать, чтобы «разогреть» застывшую в жилах кровь. Истощенные, подгоняемые плеткой лейтенанта и прикладами капралов, мы падали словно мухи в грязь. Потом нас загнали в бараки, закрыли двери и не выпускали до утра.

Лишь только утром американские снаряды выгнали нас из лагеря. Спешно нас отправили на станцию и, погрузив в вагоны, отвезли в Бельгию.

6

Около двенадцати часов дня эшелон подошел и остановился у платформы большой и красивой станции города Арлон. При выходе на асфальтированную вокзальную площадь нас разбили на группы по десять человек... На каждую группу был поставлен усиленный конвой.

Город Арлон, оккупированный немцами еще в 1914 году, был запружен германскими войсками. Вдоль ровных асфальтированных улиц тянулись обозы. В парках дымились походные кухни, по улицам шпацировали верховые патрули.

С тротуаров и из окон домов боязливо смотрели женщины на наряд. Каждый стремился схватить сверток. Полубуханка белого хлеба Мы заметили, как из окна третьего этажа на мостовую вылетел сверток. Мы разом бросились к нему, десятки рук потянулись вперед. Каждый стремился схватить сверток. Полубуханка белого хлеба в одну секунду была разорвана на части. Из домов выходили женщины, сначала робко оглядывались, потом смелее. Под фартуками они держали хлеб.

И ни грозные крики, ни приклады, ни выстрелы не смогли остановить одичавшую от голода массу.

Мы рассыпались по улице и тротуару. Из каждого дома выносили нам хлеб, из окон бросали булки, папиросы.

Вот Паша подбежал к девочке, у которой в руках ломоть хлеба и немного сахара. Дрожащей рукой Паша схватил подаяние. Девочка старалась улыбнуться, но неожиданно сзади подскочил начальник конвоя и рукояткой нагана ударил по голове Пашу. Девочка истерически вскрикнула, испуганная побежала в дом. Окровавленный Паша упал в канаву, из рук посыпались сахар и хлеб. Разом нахлынувшая толпа голодных потоптала его ногами. Люди падали, ползком лезли, протянув руки вперед, стараясь поймать хоть крошку хлеба. Меня прижали к стенке каменного дома, над головой

прожужжала пуля, зазвенело стекло: конвоиры открыли огонь по окнам.

Цокая подковами, прискакала кавалерия. Нас оцепили плотным кольцом и погнали за город. Сотни ружейных дул устремились в нас и в окна домов.

Я снял кусок тряпки, которой обматывал шею, и перевязал Паше голову. Рана оказалась неопасной. Рукояткой нагана была рассечена кожа, череп остался невредим. За городом на первой остановке я обмыл запекшуюся кровь на голове Кострова, а дядя Ваня остриг волосы и тщательно перевязал рану.

В семи километрах от города, в бывшем пансионе, нашу команду разместили на стоянку.

...На второй день утром нас на работу не выгоняли. Костров взглянул в окно и заметил, что у железных ворот пансиона, в котором мы помещались, собралось много народа. Паша позвал меня.

— Смотри!..

Группа человек в пятнадцать из местных крестьян и рабочих города что-то настойчиво требовала, напирая на конвоира. Последний держал винтовку наперевес, кричал: «Цурюк, цурюк!» Из караульного помещения выбежали солдаты. Вскоре появился и комендант. Оказалось, что эта была делегация от бельгийских рабочих и крестьян. Она пришла получить разрешение передать русским продукты.

После долгого упорства комендант все же разрешил пропустить подводу, груженую хлебом, во двор. Но бельгийцам велел разойтись. Однако, делегация не уходила и потребовала раздать хлеб русским в их присутствии.

Нас построили в затылок по-одному. Капрал Лубе залез на подводу и раздавал резаные куски белого хлеба. Получив двести-триста граммов, мы сердечно благодарили бельгийцев за это скромное подаяние.

Весь день просидели в пансионе. Ходили разные слухи. Денисов уверял, что ему конвоир осторожно сказал, что будто немцы отступают, а русских оставят здесь. Костров даже подпрыгнул от радости, забыв, что у него болит голова. Я побежал в коридор нижнего этажа. Еще с утра я заметил, что у дверей стоял на посту Бецке, — он уж скажет правду...

— Бецке, Бецке! — вполголоса окрикнул я старого солдата-баварца.

Бецке посмотрел на меня, оглянулся на двор и вошел в коридор.

— Камрад, бум-бум капут?.. Русь домой? — спросил я.

Бецке покачал головой, потянул дым из длинной кривой трубки, ответил не сразу.

— Бум-бум капут нихт... Германия революцион... Русь идет туда, француз!..

— В Германии революция? — с удивлением переспросил я.

— Да, да... Дейч солдат бум-бум своя буржуй!..

От радости я схватил руку Бецке, чуть не выбив у него трубку изо рта, крепко пожал ее и убежал, не сказав ни слова.

— Товарищи, товарищи!.. В Германии революция... — закричал я вне себя.

— Что, что! Где революция? — окружив меня, спрашивали товарищи.

— Конвоир Бецке мне только что сказал: в Германии революция. Солдаты восстали против правительства, бьют буржуев. А нас...

— Что нас, в Россию?.. — спросил, просияв, Денисов.

— Нет... Он говорит — французам оставят...

С минуту царило молчание.

— Пусть французам... Лишь бы не здесь... — задумчиво ответил Иванов.

Денисов сел на подоконник, и вдруг сначала тихо, потом постепенно повышая голос, запел нашу «Песенку пленных». Ее подхватили несколько голосов, и заунывный мотив полился за окно.

Из второго этажа пансиона виднелись стройные тополя, окаймлявшие прямую как стрела шоссейную дорогу, убегавшую вдаль. От ярких лучей осеннего солнца она, отшлифованная шинами, блестела как зеркало.

Под окном расстилался сад, яблони роняли пожелтевшие листья. Тихо чирикали воробьи, перелетая с одной яблони на другую. Упорно не сдаваясь наступающей осени, еще зеленой дремала акация.

А между тем за пределами пансиона быстро изменялись события. Бродили слухи о Германской революции, отступлении с фронта немецкой армии под обстрелом американцев... Это заставляло задуматься и нас о себе. «Что же будет с нами дальше? Куда погонят?..»

На следующее утро к воротам подъехали две подводы, на одной стояли бачки с супом, на другой хлеб.

На этот раз бельгийцы потребовали раздачу произвести самим.

С какой радостью получали мы из рук ласковых бельгийских девушек черпак супа и кусочек хлеба. С жадностью опоражнивая тут же на месте, благодарили их.

Паша сумел получить два раза, а белокурая девушка, улыбаясь ему, шепнула по-немецки:

— Германцам конец, русские поедут домой.

Слова белокурой бельгийской девушки сбылись, но не так, как она сказала.

В эту же ночь, двадцать шестого октября 1918 года, нас построили и погнали пешком.

Ровно сутки мы шли в неизвестном направлении. В глухую полночь остановились в небольшом и грязном городе Лонгви. Все улицы города были беспорядочно загромождены обозами. С трудом по-двое в ряд мы пробирались между повозками. Кругом слышался топот и ржание лошадей, окрики немецких солдат, брань, стук и шум.

Далеко за городом, где-то в темноте ночи, время от времени стонала артиллерия.

От взрывов снарядов вздрагивала мостовая.

Вскоре нас разместили в тесном театре, превращенном в уборную немецкими войсками.

Немцы спешно отступали, не оставляя ничего на своем пути, а утром, чуть свет, ушли и наши конвоиры.

Мы свободны... Свободны без куска хлеба в разрушенном городе! Люди, вырвавшись из стальных цепей, торжествовали от радости, целовали друг друга. На миг забыли кошмарные дни плена. В мыслях воскресала надежда вернуться живыми на родину. Но короткими были наша радость и ликованье. К вечеру в город вступили американские войска.

...В Германии разгоралась революция. Измученные четырехлетней бойней, стальные войска кайзера восстали против него. Угрюмые, с затаенной злобой, отступали немецкие солдаты к Эльзас-Лотарингии, а по их пятам следовали союзники. Всем военнопленным русским, находящимся на территории Франции или Бельгии, было категорически запрещено, в связи с революцией, входить в Германию. С одной стороны, при затруднительном положении с продовольствием в Германии они стали не нужны немцам, а с другой — германское командование боялось, что русские примкнут к революционным войскам, что было вполне возможно. Поэтому на полях Марна и Шампани немцы бросили тридцать пять тысяч русских военнопленных, голодных и оборванных.

Эти несчастные люди, думавшие только о хлебе, о родине и теплом жилье, — попали из огня да в полымя: двадцать восьмого октября 1918 года американцы нас собрали в одно место, окружили конвоем, а через несколько дней отправили во Францию, в город Верден.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Окутанное дождевыми тучами небо, закалось, вот-вот расплачется холодными слезами. Сильный ветер врывался в открытую дверь пульмановского вагона, кружился в углах и со свистом вылетал на волю. Поезд мчался через фронтовую полосу от города Лонгви к Вердену.

Мелькали разрушенные станции, развалины деревушек. Извивались змейками кривые линии окопов. Куда ни кинешь взор, — кругом разруха, пустота и безлюдье, напоминавшие сплошное кладбище.

Над изуродованной снарядами землей висел свинцовый туман.

На другой день, ровно в полдень, поезд остановился в развалинах Верденской станции. Выстроились на перроне и под конвоем американцев двинулись в город.

Перед нами открылась картина страшного разрушения: тут мы увидели самое ужасное, что оставила после себя кровавая империалистическая война.

Мы шли по грязной дороге, между обуглившихся стен, служивших когда-то жилищами. Дождь смывал последние остатки запекшейся крови, образовав черные лужи. Мертвецов давно уже убрали, но на обломках каменных груд еще валялись обрывки шинелей, солдатские ботинки с торчащими из них кусками ног. В канаве плава-

ли стальная каска и человеческие волосы. Ни вправо, ни влево не было видно ничего, кроме развалин. В них свистел и стонал ветер. Холодный дождь свирепо бил в лицо.

Стиснув зубы, я брел по жидкой желтой грязи рядом с Пашей Костровым. Бледно-желтое опухшее лицо Паши отражало все пережитое. Голова склонилась на грудь, изредка большими голубыми глазами он с грустью всматривался в опустошенные улицы, шептал с отчаянием в голосе:

— Вот оно, наследие империалистической игры!..

И я вспомнил, как еще в казарме, до отправки на фронт, Паша мне говорил: «Войны не хочу, а воевать хочется».

Странный был человек этот Паша. По природе неглупый, начитанный и честный, он прекрасно понимал все зло, которое несла война. Он видел, сколько горя, мучений, слез и глубоких неизлечимых ран оставляет она за собой. Не раз с негодованием и свойственной ему горячностью, смело и решительно, не задумываясь о возможных последствиях, он открыто выражал ненависть к тем, кто затеял кровавую бойню. Он ненавидел офицеров, издевавшихся над солдатами, и не терпел насилия, но вместе с тем война притягивала Пашу. Его увлекал грохот канонады, оглушительный гул взрывающихся снарядов, звенящий визг проносившихся над головами пуль и размеренный, строго ритмичный рокот пулемета.

Смотрел я на Пашу и недоумевал: как в одном человеке могут уживаться два совершенно противоположные чувства?

Как-то раз, оставшись наедине, я высказал свое недоумение Паше. Он на минуту задумался, а потом страстно ответил:

— Видишь ли, ты может быть меня и не поймешь, но я все-таки постараюсь тебе объяснить. Жизнь наша проклятая — это верно — и я ее ненавижу. Я ненавижу войну, потому что она несправедлива и нам, кроме нищеты, ничего не дает. Но в то же время я люблю, когда рвутся снаряды, когда от этих взрывов сотрясается земля и разрушается все, что попадает им на пути. Мне кажется, что это рушится наша проклятая нищая жизнь, а за ней встает что-то новое, большое и светлое, понимаешь?

Да, теперь я понимал. Я прекрасно понимал Пашу, так как знал, что и дома ему жилось не легче, чем в солдатах.

Родившись в захолустной деревушке Самарской губернии, Костров Паша рос и воспитывался в небольшой крестьянской семье. Будучи двенадцатилетним, он лишился отца. Оставшись с одной матерью, Паша вместе с ней трудился на клочке земли. На зиму уходил в город, нанимался мальчиком к торговцу мукой. Ворочал мешки, разносил муку по квартирам купцов и чиновников. Когда Паше исполнилось шестнадцать лет, он поступил на завод чернорабочим. Уже тогда среди рабочих было брожение, росло недовольство против существующего строя и начавшейся войны. Но Паша, получив религиозное воспитание, тупо воспринимал, вследствие своей молодости, революционное настроение рабочих. Зарабатывая восемьдесят копеек в день, он довольствовался сухим хлебом. Часть денег посылал старушке-матери.

Через два года его взяли на военную службу. Простившись с

матерью и старшим братом, больным туберкулезом, который тот получил в кочегарке волжского парохода, Паша уехал.

Уже с первых дней на военной службе в Кострове сказался пылкий и в то же время упрямый характер.

Первое сражение, атака Паше показали всю нелепость, бессмысленность неумелого командования царских офицеров. В нем еще больше воспламенилась ненависть к начальству.

Пройдя страшный путь германского плена, Паша понимал, знал теперь виновника всех наших бед и страданий.

Мое сердце сжималось от боли. Мысли путались, уносились в прошлое. Вспомнились бои на русском фронте, разгромленные деревушки, разбитые города, опустошенные поля Лифляндии, Литвы и Латвии и тысячи, тысячи беженцев, оставшихся без крова. Теперь, когда я глядел на страшные развалины Вердена, этой твердыни Франции, мне казалось, что весь мир — сплошная разруха, кладбище мертвецов... Только теперь, пережив и испытав на себе все тяжести войны, с полной ясностью представлялась картина бессмысленной варварской бойни. Больше и больше появлялись отвращение к войне и ненависть к тем, кто начал ее.

...Через час мы остановились на широком плацу, обнесенном высокой каменной стеной, с бойницами на углах и земляным валом. Впереди виднелись двухэтажные корпуса, в стенах которых зияли черные дыры, пробитые снарядами. Окна заделаны фанерой; это были крепостные казармы.

В казармах уже находились русские, прибывшие еще до нас из Шампани.

При распределении по корпусам к нам присоединились Митя Денисов, Иван Горячев и дядя Ваня.

Мы все вместе разместились в одной комнате второго этажа. Костров и я сильно жалели, что Иванов не попал с нами вместе.

Коек и постельных принадлежностей не было. На полу вдоль стен валялась грязная, перетертая от времени солома, на ней мы и сложили свои вещи.

Дядя Ваня в нашей группе был старше всех. Невысокого роста, он имел широкие плечи. Его лицо густо обросло черной бородой, местами выступала седина. Темные глаза под густыми бровями все время быстро бегали. Дядя Ваня любил пошутить, он знал много небылиц из украинского быта, и мы, молодые, любили послушать его рассказы в длинные осенние бессонные ночи. Слушая дядю Ваню, мы забывали на миг свою тяжелую пленную жизнь. За рассказы, остроумные шутки, за тихую жизнь, — дядя Ваня стал одним из любимцев всей команды. И сейчас, когда дядя Ваня готовился разложить свои вещи на соломе, Паша и я поспешили занять место рядом с ним.

— Чего прете, голота несчастная!.. — шутя говорил дядя Ваня.

— Ну, ну не сердись, дядя Ваня, мы хотим с тобой рядом, — ответил Паша.

— Рядком, так сидай спокойно, а то глянь який порох пидняли, хоть сакиру вешай. Солома-то на ще тут три року лежит, задыхнутысь можно.

Действительно, от движения людей в комнате поднялась такая пыль, что пришлось открыть двери. Люди чихали, плевали и харкали.

Дядя Ваня, зажимая рукой рот, ворчал:

— Бусурманы, лягалы бы да дрыхли, какую возню пидняли.

— Ничего, дядя Ваня, потерпи. Теперь не в плену, а в гостях у союзника, скоро дадут и матрацы и койки. Заживем!.. — хлопнув по плечу дядю Ваню, весело крикнул Денисов.

— Раскрывай рот шире, манна посыплется, — огрызнулся дядя Ваня.

Все засмеялись.

— Откуда прибыли?.. — спросил нас высокий и худой сосед.

— С Марны... — ответил я.

— А лагеря какого?..

— Лагеря Вормса, а были мы в железнодорожной команде в окрестностях Лонгви... А вы откуда?

Я сел на табуретку рядом с новым знакомым.

— Мы из Шампани... На Рейне работали.

— А здесь давно уже?..

— Третий день сидим.

— Что же слышно? Отправлять в Россию будут?

Собеседник махнул рукой, на минуту задумался.

Тем временем я рассматривал его маленькое бледно-желтое лицо. Вокруг больших серых глаз — глубокие впадины, окаймленные синими кругами. Темно-рыжие усики топорщились ершиком. Худые, только-что выбритые щеки нервно вздрагивали.

В комнате помещалось около двадцати человек. Люди быстро знакомились, рассказывали друг другу о жизни в других лагерях, делились своими впечатлениями.

— Навряд ли скоро уедем... — снова начал мой собеседник, — мы, дружок, попали из ада в пекло...

Я с удивлением посмотрел на него.

— Да, не удивляйся, — продолжал он, — в России гражданская война, большевики, Красная армия, а на окраинах белые... Куда нас отправят?.. К белым мы не поедем. До красных нас не отправят...

Я еще ни разу глубоко не задумывался, что происходило в России. Мы были оторваны ото всего мира. Все стремились в Россию, а как попасть в нее, об этом никто не думал.

Брошенная моим собеседникам мысль глубоко засела в моем зарождавшемся сознании.

Высокого худого солдата, как я узнал из разговора, звали Сергеем Чаповым. Он привлек к себе мое внимание. Каждое слово, сказанное им, я с жадностью ловил, осмысливая его. Но наш разговор перебили. В комнату скользнул юркий француз.

— Русь, получайть суп!.. — крикнул он и исчез за дверью. Все встрепенулись. Звеня котелками, разом рванулись в коридор. Обгоняя друг друга, каждый спешил занять очередь поближе.

— Поживешь — узнаешь... — вставая, сказал Чапов.

Из полуразрушенного сарая клубами валил пар, по улице разносился приятный запах мясной похлебки. Голодные пленники, услышав этот запах, почувствовали еще больший голод и с нетерпением

топтались на месте. Тысячи людей, выстроившись в очередь, растянулись во весь двор круто изломанной линией.

Два краснощеких француза, обливаясь потом, усердно разливали по котелкам жирный бульон, третий выдавал из ящиков по четыре галеты на человека.

Каждый, получив порцию, бежал в свою комнату.

— И в жизни такой не едал, пра не едал!.. — возбужденно восклицал Назаров. — Вот так похлебка, не то что костяная болтушка у немцев! Ах... смотри-ка, дядя Ваня... — Назаров набрал ложку жира и поднял ее вверх, потихоньку сливая в котелок.

— Де ж тоби идаты такий в своей разанщины, як ты тильки що из-под маткиного подола да и воевать пошел, а там хлопца в полон захопили нимцы?.. А як вот у нас, на Украине, нэ тэ!..

Назаров слегка покраснел, но не обиделся на дядю Ваню. Он не хотел считать себя мальчиком, ему было уже двадцать лет.

— А что же у вас на Украине такое бывает? — с любопытством допрашивал Назаров.

— А у них галушки из окропа хлебают, да медом запивают!.. — смеясь, крикнул Денисов.

— Хиба це ни гарно?.. На вашей бессарабщине кишки кукурузой набивали и казали — це мед.

Комната огласилась смехом. Жирный бульон, вкусные белые галеты подняли настроение людей.

Назаров по привычке старательно вылизывает пальцем котелок, приговаривая:

— Еще бы котелочек, нет, два бы еще, да впрочем и десяток галеток не мешало бы, тогда забыл бы весь немецкий голод...

— Я бы сейчас, кажется, ел день и ночь и не наелся бы, — отвечал Денисов. — Но спасибо и за это французу. Если так будет кормить, поправимся враз.

Костров Паша все время молчал. Вдруг быстро встал, мне показалось, что его лицо еще больше побледнело, руки дрожали, глаза лихорадочно вспыхивали.

— Это он!.. Я не ошибаюсь!.. — забормотал Паша.

Десятки глаз устремились на Пашу. Дядя Ваня сострил:

— Вишь бульон-то як подействовал...

На шутку дяди Вани никто не ответил. Паша машинально поставил котелок с недоеденным супом на грязный столик и вышел в коридор. Я последовал за ним.

— Паша, что с тобой? Ты болен?..

Вместо ответа Паша схватил меня за руку и потащил к окну.

— Я видел его!.. Вон там. Он стоял в очереди...

— Кто он, о ком ты говоришь?..

Паша мгновенно взглянул на меня как бы в недоумении, быстро ответил.

— Шаргунов...

— Что? — невольно вскрикнул я. — Не может быть!

— Да. Я не ошибся, это был он.

Я оглянулся — в коридоре не было ни одной души, из комнат доносились голоса товарищей.

Паша стоял, плотно стиснув зубы, молча смотрел в окно. Начинало смеркаться.

— Бедный Коля, — проговорил я вслух, вспомнив умершего Суркова, — он хотел отомстить Шаргу ову.

Паша задрожал всем телом, глаза вспыхнули.

— Эта гадина еще живет! Я ему отплачу за все! — Паша бросился по коридору к лестнице.

— Стой, Паша! — вдруг крикнул Чапов, незаметно появившийся в коридоре. — Ты что, аль с ума сошел?.. Кому — отплачу?..

— Я... так, никому. Просто пошутил... — смущенно сказал он.

— То-то. Иди-ко, малый, отдохни. Ишь как лихорадит тебя!

На другой день после завтрака, состоявшего из литра сладкого кофе и пары галет, капралы забегали по комнатам, спешно выгоняя русских за получением обмундирования.

Мы стали похожи на людей. На каждом была новая шинель, шаровары, гимнастерка и русские сапоги.

Жизнь менялась уже не по дням, а по часам. В этот день, кроме бульона и галет, выдали еще по банке консервов и по пятьсот граммов белого хлеба. К вечеру обещали дать койки и матрацы.

— Ну, чорт побери, значит заживем по-человечески! — воскликал Денисов.

Костров Паша и сегодня был не в духе. После обеда он вышел из комнаты, долго бродил по длинному коридору, а к вечеру куда-то исчез. Вернувшись поздно, долго беседовал с Сергеем Чаповым. День ото дня Паша становился все более и более задумчивым.

Сережа Чапов, наш новый знакомый, много рассказывал о том, как рабочие Брянского завода, где он работал, боролись с эксплоататорами, а он, Чапов, состоял в кружке подпольщиков и не раз был арестован.

Для нас, так мало видевших жизнь, все это было очень интересно. Мы с охотой слушали Чапова, и он стал всеми любимым товарищем.

Прошла неделя. Пища все улучшалась. Мы постепенно стали забывать голодовку, к тому же и французские офицеры и комендант казарм были к нам очень ласковы и добры. Мы начали организовывать музыкальные, драматические кружки. Инициатором их был Чапов. Денисов разыскал гармониста, скрипача и цимбалиста, привел их к нам в комнату жить. Дядя Ваня начал мастерить бубен из собачьей шкуры, украшая его разными побрякушками.

Цимбалист Левицкий заканчивал корпус цимбалы, он натягивал тоненькие струны из электрических проводов. Нашлись игроки на гитаре и мандолине. На добытые деньги решили купить недостающие музыкальные инструменты.

Первым оформился драматический кружок. Денисова выбрали старостой, а мне предложили исполнять женские роли. Я долго не решался, но делать было нечего — и я начал шить платье из одеяла, которое Денисов стащил у французов в кладовой.

Первая постановка прошла удачно. Зрителей оказалось больше,

чем мы ожидали. Тесная комната нижнего этажа не могла вместить всех желающих посмотреть. Люди стояли на окнах, в дверях и даже в коридоре на скамейках.

Сцену соорудили из длинных столов, составив их вместе. Занавес — из одеял.

Сгорая от стыда, я впервые выступил на сцену в неуклюжем женском платье, оно на мне болталось и не давало возможности свободно двигаться по сцене.

Зал огласился взрывом смеха, но я не растерялся и выполнил свою роль до конца. Больше всех рассмешил зрителей дядя Ваня, он выступал в этот вечер клоуном. «Спектаклем» люди остались очень довольны.

Казалось, жизнь вошла в нормальную колею. Люди, оправившись после голодного плена, быстро забывали прошлое. И вдруг, в один час, словно стихия взбудоражила мирную жизнь лагеря.

2

Через несколько дней пребывания в казармах, как-то после обеда, в комнату вошел краснощекий сержант и заявил нам, чтобы мы все выходили строиться на плацу. Приедет генерал.

Когда сержант скрылся за дверью, Чапов сказал:

— Послушаем новости. Я предчувствую недоброе, уж больно ласковы к нам французские офицеры, это не перед добром...

— Может быть скоро отправят в Россию? — спросил Назаров, застегивая новую шинель, и добавил: — Шинель попала очень хорошая, в России такой не носил.

— С какой стати вдруг всех пленных обмундировали? — продолжал Чапов.

— Просто потому, — вмешался в разговор рябоватый парень Соколов, еще с опухшим лицом после немецкой голодовки, — что война на исходе, русские корпуса с французского фронта ушли, некуда девать обмундирование, вот и выдали его нам.

— Нет, парень. Думаешь, пожалели, что мы голодные да босые от немцев пришли? Тут надо смотреть поглубже, — с запалом, повышая голос, говорил Чапов.

— Ну, пошли, ребята! — крикнул Паша, — а то вон опять муссю за нами бежит.

Один за другим, лениво покачиваясь, выходили пленные из комнат, строились на широком плацу в колонны по четыре человека.

Вдоль офицерского корпуса, с заткнутыми за пояс шинелями, стоял взвод французских солдат. Справа духовой оркестр наигрывал марш. Над головами многотысячной толпы русских густым облаком стлался синий дым табака. Шум, гам, крик и смех — все сливалось в один общий гул. Построением колонн никто не руководил.

Французские офицеры нервничали, с нетерпением и тревогой ждали генерала. То и дело всматривались вдоль шоссе. Вдруг один из них круто перевернулся на каблучках. Раздалась команда «смирно». Взвод вытянулся в струнку. В это же время в ворота скользнул голубой

автомобиль, описав круг, остановился в нескольких шагах от нас. Офицер взял под козырек. Из машины вышел тучный генерал. Он молча принял рапорт от офицера, повернулся лицом к нам, поздоровался.

— Здравствуйте, русские!..

Среди нас стихли голоса, люди потянулись вперед на носках, чтобы увидеть генерала. Задние ряды напирали на передние. Все с нетерпением желали услышать, что же скажет генерал.

Два французских солдата вынесли из казармы стол. Генерал при помощи офицеров влез на него, поглядел на нас — начал говорить по-французски. По жесту его руки на стол прыгнул офицер, — переводчик, прибывший с ним вместе.

— Вот здесь, в трех километрах, — переводил офицер слова генерала, — на полях под Верденом, на левом берегу Мааса русский корпус отразил противника. Они, русские, не щадя своей жизни, шли в атаку, умирали во имя защиты своей союзницы Франции. Франция, — продолжал офицер, — была и будет лучшим другом русских. Счастлив тот день, когда вы освободились из-под ига бошей и попали к нам во Францию.

Ряды русских заколыхались, пробежал шопот... Какой-то старичок даже перекрестился, по его морщинистой щеке скатилась слезинка. А громкий голос генерала звучал внушительно и строго. Офицер переводил:

— Но Франция требует от вас за приют работы... — Офицер на секунду замолчал. Русские боязливо переглянулись. Генерал положил левую руку на эфес сабли, вызывающе поглядел на русских. — Генерал передает, — продолжал офицер, — что ваша страна разорена, разграблена большевиками, и спешить вам на родину нечего. Поработаете во Франции месяц-два и тогда мы вас отправим в Россию.

— В какую Россию?.. — кто-то крикнул из толпы русских.

Офицер посмотрел на генерала и продолжал:

— В Россию, которая будет освобождена из-под ига большевиков. А кто из вас желает ехать сейчас бороться с большевиками, пусть явится в штаб и запишется в легионы для пополнения великой русской армии. Мы немедленно их отправим.

Офицер замолчал. Молчали и русские.

Холодные глаза генерала застыли над многотысячной толпой русских, на мгновение пораженной неожиданными его словами. Вдруг передние ряды качнулись, из массы вынырнул человек. Он решительно остановился против генерала.

Я приподнялся на носки и увидел Пашу Кострова.

— Господин генерал! — сдавленным от волнения голосом крикнул Паша. Русские насторожились. Генерал опустил глаза вниз на смельчака и его густые брови нахмурились. — Господин генерал! — повторил Паша, — разрешите мне сказать слово!

Офицер придвинулся к генералу, что-то шепнул ему на ухо. Генерал кивнул головой.

Паша прыгнул на стол и встал рядом с генералом. Его глаза то и дело вспыхивали искорками, щеки порозовели, он быстро взглянул на шумевшие волны серой массы пленных и крикнул:

— Товарищи! Генерал говорил, чтобы мы не ели даром хлеб во Франции, а должны его заработать. Не хочешь работать, иди воевать против большевиков! — Паша повернулся к генералу. — А я спрашиваю вас, господин генерал, где наша родина? У генерала Деникина, к которому вы хотите нас отправить? Нет! Товарищи, наша родина — Советская Россия, а защищать армию капиталистов мы не намерены.

Тысячная толпа всколыхнулась и зашумела, послышались выкрики.

— Правильно! Отправляй в Советы!

Паша быстро спрыгнул со стола и исчез в передних рядах.

— Кто это? — услышал я голос позади себя.

— Пашка, из соседней комнаты, — отвечал парень с болезненным бледным лицом.

— А здорово ошарашил генерала, — продолжал первый голос. — Смотри-ка, так и стоит столбняком. Молодец парень!..

Вместе с дымом, клубившимся над головами русских, в серой пасмурный день неслись тысячи разных голосов. В шуме ничего нельзя было разобрать. Колонны расстроились. Люди стояли кучками, кричали и спорили. После некоторой паузы генерал поднял руку. Постепенно голоса затихали.

— Русские, подумайте! Французское правительство не желает вам сделать зла. Но если вы сами этого хотите, не обвиняйте его...

Он быстро спрыгнул со стола, козырнул вытянувшимся офицерам, сел в машину и уехал. Мелькнул радиатор перед глазами и голубой автомобиль бесшумно повез генерала.

С оживленным говором расходились русские по корпусам. Небо раскалывалось вечерней зарей, она бросала слабые ало-желтые оттенки на развалины города, заглядывала в окна полуразрушенных казарм, медленно потухала. Наступали сумерки.

3

В длинных темных коридорах суетятся люди. Бегущие вниз сталкиваются на лестнице с другими, спешащими вверх, ругаются, бегут дальше. Беспрерывно стучат двери в комнатах первого и второго этажей. Везде чувствуется чрезвычайное оживление, люди кричат, спорят между собою.

В темных проходах появляются таинственные человеческие тени, разговаривают вполголоса, прислушиваются, исчезают и вновь появляются.

В этой суматохе я потерял Пашу и Сережу Чапова. Они еще после ухода с плаца куда-то исчезли, даже дяди Вани в этот вечер не было на своем месте. Я с трудом пробирался по коридору, останавливался перед каждой дверью, прислушивался к голосам с надеждой узнать голос Паши или Сережи.

У дверей одной комнаты я остановился. Из-за нее доносился чей-то грубый голос, он мне показался знакомым. Но открыть дверь я не решился.

— Правильно ты говоришь, Тимофей Петрович, — вдруг я услышал другой голос, когда кончил первый.

Я вздрогнул и подумал: «Тимофей Петрович, Шаргунов Тимофей Петрович». Любопытство привлекло меня, я придвинулся к двери и насторожился.

— Если мы не согласимся работать во Франции, — продолжал голос Шаргунова, — нас будут морить голодом, как в Германии. Посадят за проволоку. А на работе дадут хлеб и свободу... Почему нам не пойти в легионы? — помолчав, спрашивал Шаргунов. — Пусть отправляют к Деникину... Ведь там, на родной земле, мы сможем уйти, куда желаем. Не правда ли?..

— Конечно, так! — отвечал надтреснутый голос. — Нечего и думать о сопротивлении французам.

«Сволочь!» — удаляясь, прошептал я.

В другом конце коридора я снова остановился. Из открытых дверей комнаты вырывались мутный свет и клубы табачного дыма.

В глубине комнаты хриповатым голосом Иванов отчетливо выговаривал каждое слово. Услыхав Иванова, я обрадовался и направился туда. В комнате было полно людей, стояли на нарах вплотную друг к другу. Тусклый свет свечи падал на возбужденные лица слушателей.

— ...Товарищи, я правильно говорю, — продолжал Иванов, — если мы согласимся работать во Франции, на ее буржуазию, нас скоро в Россию не отправят, а будут держать в лагерях и эксплоатировать, как вьючных животных. Я предлагаю требовать немедленной отправки в Советскую Россию. И если мы будем добиваться этого организованно — отправят!

— Правильно, Иванов! — послышались голоса.

— Я предлагаю избрать лагерный комитет, — продолжал Иванов, — вокруг которого мы можем организоваться, а без руководства, без лагерного комитета, мы — ничто, и французы могут нас заставить танцевать под свою дудочку.

— Так, так! — зашумели опять голоса.

— А кто желает ехать на защиту царской России, мы не держим, пусть едет, таких нам держать и не следует!

Кое-как с большим трудом мне удалось протиснуться ближе к оратору. Высокому с худым лицом парню я наступил на ногу. Маленького с вытянутой шеей человека нечаянно ударил головой в щеку, он ткнул меня в бок локтем, выругался: «Дьявол, не вишь что ли, — прешь». Но я не обратил на него внимания и вскоре стоял рядом с оратором. Иванов, опираясь руками на грязный стол, пристально всматривался в толпу. Он говорил порывисто, в его голосе звучали уверенность и настойчивость. Но несмотря на все это Иванов был сильно взволнован. После каждого его выступления люди шумели и спорили, не понимая хорошо друг друга. В дверях показались новые лица. Иванов с тревогой взглянул на людей. Зашумели пуще прежнего, послышались громкие голоса. Все устремились к двери.

— Позвольте, позвольте мне сказать слово! — вдруг послышался чей-то резкий голос. Все замолчали. Я вздрогнул. Этот голос я уже слышал.

— Я считаю неправильным, что говорит Иванов, — продолжал тот же голос. — Зачем нам выступать против французской власти? Если бы не они, мы бы сдохли с голоду. А сейчас мы получаем хорошую пищу. Генерал говорил: поработаете месяц-два и тогда отправят в Россию. Почему не поработать? За это нам заплатят. А если будем сопротивляться, нас посадят на строгий режим. Не так ли я говорю?

— Да оно бы и так... — вырвался чей-то нерешительный голос.

— Врешь, мерзавец! — вдруг раздался голос Паши.

Я поднялся на койку. В проходе дверей стоял Паша, наступая на здоровенного мужчину с черной бородой, который пытался выскользнуть в коридор, но Паша загородил ему проход. Я сразу узнал в нем Шаргунова.

— Ты — гадина! — вне себя от гнева и ярости кричал Паша. — Я слышал, ты еще в коридоре подговаривал людей, чтобы ехать до Деникина...

Паша со сжатыми кулаками бросился к фельдфебелю. Я мигом спрыгнул с нар, расталкивая людей, встал рядом с Пашей. Я задрожал словно в лихорадке. Я крикнул:

— Товарищи, я слышал — Шаргунов сейчас проводил митинг в своей комнате. Призывал людей записываться в белые легионы.

В комнате поднялся шум. Понеслись голоса негодования.

— Ты — сволочь, душегуб!.. — продолжал кричать Паша, сжимая кулаки. Его глаза блестели злым огоньком, из груди вырывалось порывистое дыхание. Шаргунов на минуту опешил, но, оглянувшись по сторонам и увидев своих людей, уверенно сказал:

— Я никому зла не сделал, а советую не травить людей против французской власти...

— По-твоему: или работать на буржуев, или ехать к белым, воевать против советов? Так выходит?!.

И когда Паша готов был прыгнуть на Шаргунова, а я горел желанием вцепиться в косматую бороду его, между нами встал неожиданно человек, он посмотрел в глаза Шаргунову и проговорил:

— А-а-а, это вы, господин старший? — и обернувшись, продолжал. — Товарищи, из-за него я в Германии на столбе висел и вы наверное такое удовольствие имели. Это — бывший наш старшина Вормского лагеря! Первый подлизник и шпион!..

Слова незнакомца, словно электрический ток, ударили по сердцам. Люди заволновались. Каждый вспоминал гнусных предателей, старших команд, которые за лишнюю порцию готовы были продать себя немцам, а товарища на смерть...

— Долой их... Вон из лагеря! — кричала рассвирепевшая толпа. — Душить их надо, мерзавцев!

— Товарищи, товарищи! — вырывался из глубины комнаты голос Иванова, но его слова заглохли в общем шуме. Шаргунов прыгнул к Паше, толкнул в грудь его так неожиданно, что Паша не успел преградить дорогу, как уже он исчез в темноте. Я бросился за ним, но неожиданно упал, ударившись лбом об пол: кто-то мне подставил ногу. Толкая друг друга, выбегали из комнаты люди, полные злобы и ненависти. В темном коридоре слышались отчаянные голоса:

— Лови... держи его!

Гулко раздавались тяжелые шаги по корпусу, хлопали двери, где-то звякнуло стекло.

На улице грохнул выстрел, из караульного помещения выбежал конвой.

Борьба продолжалась. Лагерь раскололся на две группы. Почти ежедневно из корпусов казарм выходили люди с вещами, направлялись к коменданту, записывались на работу. Из поляков, эстонцев, латышей и финнов организовались добровольческие легионы. Их снаряжали аммуницией и отправляли на родину.

Большинство же пленных, во главе с лагерным комитетом, под руководством Иванова, Чапова и Кострова, не хотело итти ни на работы, ни в легионы, — требовало отправки в Советскую Россию.

Мы поняли, что теплая встреча, ласковое и доброе отношение офицеров к нам было не что иное, как ловушка. Нас пытались использовать для белой армии, в борьбе с большевиками. И когда мы решительно отказались от такого предложения, — лагерь разбили на два режима — «А» и «Б». Группами рассылали по разным лагерям. Для режима «Б» назначались самые плохие условия концентрационных лагерей.

В конце декабря 1918 года мы второй партией были отправлены из Вердена.

4

В четырнадцати километрах от Вердена, на крутом косогорье раскинулся лагерь Никцевилль. Внизу, у подножья лагеря, тянулась шоссейная дорога, а за ней на несколько километров стлалась равнина. Там вдали плотной стеной стоял большой бурый лес.

С другой стороны лагеря, с юга, косогорье уходило в высь и вершиной упиралось в горизонт неба.

На этом крутом косогорье и расположился лагерь, в котором было двенадцать деревянных бараков, обнесенных в три ряда проволочным заграждением.

Был пасмурный декабрьский день. Со стороны равнины дул сильный ветер. Дождь вместе со снегом бил в маленькие квадратики барачных окон, барабанил по толевой крыше. С крутого косогорья мчались к баракам ручьи воды. Вода просачивалась внутрь бараков, и земляные полы превращались в сплошное болото липкой грязи.

Мы помещались на двухэтажных нарах из проволочной сетки, без матрацев и одеял, целыми днями просиживали на нарах, ибо пройти по растоптанной грязи нам стоило больших трудностей. Электрического света, как и в самом Вердене, у нас не было. Французы выдавали по две свечки на каждый барак, в котором помещалось сто человек. Настроение было натянутое, среди нас было много шпионов. Те, кто были сторонниками французов, предлагавшие итти работать или уходить в добровольческие легионы армии Деникина, открыто агитировали массу. Они говорили:

— Нас заморозят здесь, заморят голодом, а если согласимся работать, будем жить вольно и в хороших лагерях.

Особенно агитировал всех Шаргунов, который после верденской истории какими-то судьбами остался жив. Теперь он организовал группу из своих сторонников и вместе с ней вел борьбу против лагерного комитета. Сторонников этой группы было только двадцать человек. Они хотели расстроить лагерь, чтобы целиком всех отправить на работы.

Не выдержав, боясь повторения голода, многие, большей частью по ночам, уходили из лагеря и записывались на работы.

Положение становилось критическим, наша организация распадалась. Строгий режим лагерных условий давил русских, еще не оправившихся как следует после немецкого плена. Голод с каждым днем чувствовался все сильнее. Горячие обеды мы получали только через день-два. Особенно остро ощущался недостаток воды в лагере, а из-за этого и не готовились обеды.

При всех этих условиях работать лагерному комитету было чрезвычайно трудно. Для руководства комитетом требовался крепкий, энергичный, решительный человек. Таким человеком был Сергей Чапов, а его верным помощником — Паша Костров.

Иванов, при отправке из Вердена, был отправлен в лагерь Суэм с первой партией. Мы жалели его, но, с другой стороны, желали этого. Для организации общей борьбы надо было вести работу во всех лагерях. А на Иванова мы все надеялись.

Через несколько дней после прибытия в лагерь Никцевилль комендант лагеря предложил нам возить воду для всего лагеря на себе. Волей-неволей, несмотря на наши протесты, нам пришлось по очереди на своих спинах возить в лагерь воду. Но когда в первый день мы поехали за водой, то двадцать человек были не в силах вытащить одну бочку по крутому косогорью. Колеса вязли в грязи по самую втулку и везти было невозможно, а от лагеря было ровно полкилометра. Мы поняли гнусную затею коменданта: это было настоящее издевательство, и мы категорически отказались от такой работы, заявив: «лучше голодать будем, а за водой не поедем».

День и ночь заседал лагерный комитет. Обсуждались вопросы, которые волновали каждого человека, живущего в лагере.

Сергей Чапов решил пойти сам к коменданту, переговорить с ним об условиях жизни русских в лагере.

На следующее утро он встал рано. Лицо его было бледное, озабоченное, высокая фигура его казалась осунувшейся и сгорбившейся. Сережа молча натянул грязные сапоги и сказал мне:

— Идем к коменданту — просить воды...

Я оделся, разбудил Пашу и шепнул ему, что мы идем к коменданту.

По дороге, почти у самой калитки, мы встретили Шаргунова. Шаргунов, скривив губы, улыбнулся, поздоровался с нами, но мы, как бы не замечая его, прошли мимо.

— Видишь, на доклад ходил... Сволочь! — сказал Чапов.

— Деньги за это получает... — ответил я.

У входа в лагерь стоял постовой с карабином на плече. Увидев нас, постовой крикнул по-немецки:

— Стой!

Услыша немецкий голос солдата, я подумал: «лотарингец», а Сергей по-немецки ответил:

— Мы идем к коменданту.

Часовой взял карабин на плечо, кивнул утвердительно головой. Мы прошли к маленькому дому, где жил комендант. На крыльце остановились. По небу мчались разорванные облака. Над равниной, у подножья горы, расстилался густой туман. Ветер трепал трехцветный флаг, развевавшийся над дверями комендантской квартиры. Я оглянулся на мрачный, еще погруженный в сон лагерь.

Чапов постучал в филенчатую дверь. На пороге появился белокурый денщик коменданта.

Солдат недоумевающе взглянул на нас серыми глазами и спросил по-французски:

— Что вам нужно?

— Я хочу говорить с комендантом, — тоже по-французски ответил Чапов.

Солдат быстро повернулся, исчез за дверью. Вскоре дверь вновь отворилась, тот же солдат кивком головы велел следовать за ним. Когда мы вошли в комнату, комендант сидел в кресле и читал газету. Перед ним на столе стоял остывший стакан какао, в пепельнице дымилась недокуренная сигара. При виде нас комендант положил газету в сторону и холодным, испытующим взглядом посмотрел сначала на Сергея, потом на меня. Я спокойно выдержал его взгляд. Комендант взял сигару, потянул в себя дым и вытянулся в кресле.

— Чем могу служить русским? — спросил комендант. В его голосе я заметил насмешку, превосходство над нами.

Лицо Чапова дрогнуло, выпрямившись, он ответил:

— Я председатель лагерного комитета...

— Очень рад познакомиться, — перебил комендант, — надеюсь услышать от председателя разумные слова. — При этом комендант выпустил изо рта клубы дыма и поправился в кресле. Лицо его слегка прояснилось. Он указал на стоящее пустое кресло, пригласил сесть.

— Мерси, я постою, — ответил Сергей.

— Садитесь, садитесь, — поспешил комендант, — я давно собирался по душам поговорить с представителем от русских. Я много слышал о них...

В моей голове невольно возник образ Шаргунова, встретившегося у ворот лагеря. Комендант продолжал:

— Франция уважает героев. Наш народ любит отважных и смелых людей. Чего вы стоите? Садитесь... Андре! — крикнул комендант солдату.

В дверях появился белокурый денщик.

— Андре, подайте горячего какао!

Солдат скрылся в дверях. Скоро он вошел снова с подносом в руках. Шоколадное какао испускало приятный аромат. На подносе лежали свежие галеты. Чапов неловко опустился в кресло возле сто-

ла, я продолжал стоять. В маленькой квартире коменданта было очень тепло. На стенах висел портрет президента Пуанкаре и портреты знатных генералов.

Комендант еще раз испытующе посмотрел на Сергея, меня пригласил сесть и сказал:

— Кушайте, мусье, — и добавил еще: — уж мы не так-то противны и злы, как нас считают некоторые русские.

Мне стало не по себе. Чапов поправился в кресле, он знал, зачем шел к коменданту, он знал и то, что тысяча русских ожидает ответа.

— Господин комендант, я хочу с вами поговорить... — неловко начал Чапов.

— Да, да, я вас слушаю, мусье. Можете говорить со мной вполне откровенно. Франция надеется, что вы окажете ей услуги. Мое правительство готово во всякое время отблагодарить вас, если вы изберете другой, более благоразумный путь. Итак, я вас слушаю.

Сергей встал. Комендант многозначительно посмотрел на Чапова, потом взгляд опустил на стакан какао, сверху которого застыла бурая пленка.

— Я, как представитель от тысячи русских, заточенных в лагере и находящихся здесь в нечеловеческих условиях, должен буду передать вам протест против издевательства над нами.

Офицер поднял голову и насторожился.

— Я... причина вашего несчастья? Вы ошибаетесь, мусье. Те из русских, которые согласились работать, великолепно живут. Для них открыты ворота лагеря. Почему бы и вам не жить так?

— Только враги Советской России работают у вас, — вставая, заявил я, — мы их не считаем своими, они продали себя... Мы работать не будем.

— И повторяем, напрасно вы этого добиваетесь,—добавил Чапов.

Комендант поднялся с кресла во весь свой рост. Постучал пальцем по столу, вокруг его рта появились складки, чисто выбритое лицо потемнело. Брови сошлись у переносицы.

— Чего же вы от меня хотите? — официальным тоном спросил комендант.

— Мы хотим, мы требуем, чтобы воду в лагерь возили на лошадях, а не на наших плечах, чтобы каждый день нам готовили обед. Мы требуем, чтобы каждому выдали матрац и одеяло, — твердым голосом ответил Сережа.

— Ах, так! — воскликнул комендант. Он подошел к окну и раскрыл форточку. Затхлый сырой воздух ворвался в комнату. Комендант взял из коробки сигару, обрезал конец, закурил и, помолчав, продолжал:

— Чего же вы, мусье Чапов, от меня хотите? — повторил вопрос комендант. Его лицо уже сделалось злым, слова — сухими и резкими.

Сергей, услыхав свою фамилию, удивился, отступил назад, но не показал вида, что удивлен.

Вспомнив о Шаргунове, я подумал: «шпион, фамилии руководителей лагеря сообщил коменданту».

— Я уже вам сказал, господин комендант...

— Так, так. Я слышал. Воды, матрацы, одеяла. Вы хотите, чтобы я был вашим слугой? — воскликнул комендант, останавливаясь против Чапова и осмотрев его с ног до головы.

— Мы не требуем, — вмешался я, — чтобы вы были слугой, но вы должны дать нам самое необходимое, чтобы мы не подохли здесь с голода. Вы нас держите как скотину.

— Я прошу разговаривать со мной иным тоном, — оборачиваясь ко мне, зло заявил комендант. — Будете работать, получите все, а пока будьте довольны и этим.

— Но ведь это подлое издевательство! — вне себя воскликнул Сергей.

— Я поступаю так, как мне заблагорассудится. Я выполняю распоряжение своего правительства. Я приказываю оставить мою квартиру!

Сережа и я молча повернулись. Тяжело дыша, я вышел на улицу. Серый туман из низовья долины медленно полз по косогорью, застилая бараки лагеря Никцевилль.

Медленно нависали сумерки над лагерем. В бараках было уже темно, кой-где поблескивали мутные огоньки. Тишина, словно в лагере нет ни одного живого существа. Только из-за проволочного заграждения доносились мерные шаги постовых да мелодичный напев французской песенки.

В полумрачном бараке скрипели проволочные сетки. Люди, одетые в шинели, молча лежали на нарах. В углу мерцал желтый огонек. Вокруг него собралось несколько человек с мрачными, обросшими бородой лицами.

Огарок восковой свечи мутно освещал угол черного барака. По толевой крыше барабанил дождь. В щели стен со свистом врывался ветер и колыхал огонек горевшей свечки.

Облокотившись левой рукой на грязный дощатый столик, сидел Костров Паша. Напротив него в углу — Денисов, рядом с ним Горячев, член лагерного комитета. Сергей Чапов, прислонившись спиной к стойке нар, низко склонил голову. Кругом, на верхних и нижних нарах, сидели молчаливые люди. Здесь были представители ото всех бараков. Лагерный комитет собрался, чтобы разрешить вопрос — бороться или сдаться.

Чапов выпрямился и сказал:

— Были мы у коменданта, думали добьемся, что он улучшит нашу жизнь. Напрасно мы убеждали его, что живем хуже скотины. Он заявил: «Идите работать, будете жить лучше».

— Так... — после некоторой паузы сказал Денисов, — комендант говорит — работайте, тогда будете жить?..

На смуглом лице Денисова по-особенному заблестели глаза. Оглядевши всех, кто здесь был, он заявил:

— Мне кажется, можно начинать. Все уже в сборе.

Чапов сел на край койки, развернул клочок бумаги. Горячев придвинул огарок свечи на край стола. Чапов стал говорить:

— Товарищи, у нас на повестке дня два вопроса. Первый — о продовольствии и второй — о прибытии офицеров.

Проволочные сетки нар заскрипели. Из темноты вылезали чумазые люди. Каждый старался пробраться вперед и лучше расслышать, что говорил Чапов.

— Так вот, — продолжал он, — мы только что получили письмо от коменданта о том, что в наш лагерь приезжают русские офицеры. Они будут опрашивать каждого из нас, кто куда желает. Мы должны подготовиться к этой встрече. Об этом и будем говорить сегодня.

— Говорить тут много нечего! — воскликнул Назаров. — Закроем бараки и все. Их не пустим и сами не выйдем.

— Так-то уж больно легко. Нет, парень, ты не горячись, — возразил Денисов, — надо этот вопрос решить как следует. Как ты думаешь, Чапов?..

Чапов оглянулся и начал вполголоса:

— Среди нас живут шпионы и предатели. Все, что мы делаем, что говорим и постановляем, — коменданту известно. Поэтому нам придется вести борьбу не только с лагерным начальством и русскими офицерами, но и со своими предателями. Сегодня утром мы встретили Шаргунова, шел от коменданта. Недаром ходил!..

— Выгнать Шаргунова из лагеря! — опять крикнул Назаров.

— И это не так-то легко, — перебил Чапов, — для этого надо, чтобы все пленные были заодно. Только общими силами сможем выгнать шпионов и предателей. Нам нужно сейчас всем членам лагерного комитета разойтись по баракам и правильно разъяснить всем в лагере, с какой целью приедут офицеры. Надо рассказать, что нас снова хотят использовать как пушечное мясо. Ну а по части продовольствия, — предъявим коменданту ультиматум и, если положение не улучшится, объявим голодовку. Дальше, — спокойно продолжал Чапов, — необходимо связаться с лагерем Суэм. Там помещается три тысячи человек и, кроме того, там член Верденского лагерного комитета, товарищ Иванов. Мы должны вести борьбу сообща. Наша цель — не работать, не итти в легионы, а требовать только, чтобы нас отправили в Советскую Россию.

Чапов перевел дыхание. Он страдал одышкой и не мог долго говорить.

— Для этого надо кого-нибудь послать от нас... — заявил Денисов.

— Безусловно надо, — продолжал Чапов, — и более надежных товарищей. По этому поводу я уже говорил, когда мы возвращались от коменданта. — Чапов показал на меня. — Он согласен. Но одного мало, с ним пойдет еще Костров.

Паша поднял голову, посмотрел на Чапова, потом на меня. На его взгляд я ответил словами:

— Думаю, Паша не откажется?...

— Я согласен! — ответил Паша и добавил: — Надо назначить время побега...

— А это ваше дело. Сами ищите время и случай... — сказал Чапов.

Долго еще мы обсуждали волновавшие всех нас вопросы. Соста-

вили план работы, приняли все предложения Чапова и уже поздно ночью разошлись.

С раннего утра по всем баракам началось оживление. Ждали «гостей». Хоть доброго от них ждать было нечего, однако, у всех, помимо воли, рождалось желание увидеть офицеров лишь бы для того, чтобы поругаться с ними.

Когда я проснулся, Чапова на нарах уже не было, а Костров Паша лежал на спине и курил цыгарку из разрезанной сигары. Двери барака открылись, вошел встревоженный Чапов.

— Приехали! — объявил он.

Несмотря на непролазную грязь в бараке, мы все же слезли с нар и вышли за дверь. Паша быстро встал, одел шинель и тоже вышел. В бараке остались только больные.

За проволочным заграждением, во дворе комендантского домика, стояли легковые машины. В лагерь через проходную калитку прошел взвод французских солдат. Нам приказали зайти в бараки, у дверей поставили посты. Группа офицеров (три русских и один французский) вместе с комендантом лагеря проходили от одного барака к другому. У входа в барак они останавливались. Им подносили небольшой стол и стулья. Офицеры, открывая дверь барака, поодиночке выпускали русских и опрашивали.

Вот уже прошел двадцатый человек. Впереди меня Костров Паша, я — за ним.

Когда я подошел к столу, капитан встал, положил руку мне на плечо, посмотрел в глаза и спросил:

— Зачем вы голодаете, живете в такой грязи, мучаете себя, когда впереди у вас, молодой человек, вся жизнь? Счастливая и свободная! Эту жизнь вы можете получить. Она сама вас зовет и манит, а вы не хотите. Скажите, молодой человек, что вас удерживает от того, чтобы получить счастье? Вот этот клочок бумаги может решить вашу судьбу. Запишитесь в легион, или на работу, куда желаете...

Прапорщик придвинул чистый лист бумаги ближе ко мне, подал карандаш. Но я не двинулся с места. Спокойно выслушав штабс-капитана, ответил:

— Нет, я никуда не записываюсь: ни в легион, ни на работу... А кто нас держит в лагере, как не вы? Вы заставляете нас голодать.

— Мы?.. Нет, вы ошибаетесь, молодой человек. Мы приехали вырвать вас из этого несчастья.

— Вырвать? — удивился я. — Вырвать из пекла, чтобы послать на защиту Деникина!

— Значит, не желаете? — спросил капитан уже другим тоном.

— Не желаю!

— Тогда скажите, молодой человек, кто вас сбивает с пути, кто мутит весь лагерь?

— Не видел и не знаю.

— Ты — врешь! — закричал русский офицер.

— Спросите другого, если я вру.

— Уходи! — уже сдавленным от гнева голосом прошипел он.

— Ну как, исповедался? — со смехом встретил меня Паша Костров в другом конце барака.

— Сволочи! — ругался Денисов. — Ишь что придумали — в одиночку взять!..

Вся эта процедура длилась до позднего вечера. Лагерь был крайне возбужден. Только тринадцать человек согласились итти на работы. Они уехали из лагеря вместе с офицерами.

Свинцовые тучи низко мчались на север. Серым туманом затягивало долины. В мутном рассвете январского утра вырисовывались черные силуэты бараков лагеря Никцевилль. Четыре ряда ощетинившейся проволоки опоясывали его со всех сторон.

После отъезда офицеров лагерь охраняли сенегальские стрелки. Истомленные и измученные скитаниями по чужбине, голодные русские нерадостно встречали новый день, который сулил много новых бед и несчастий.

В десять часов утра французский сержант вручил председателю комитета бумажку, в которой комендант требовал выделить сто человек для отправки, якобы, в другой лагерь. У калитки уже стоял наряд конвоиров, выстроившись в походном порядке, ждал пленных.

Известие о выделении ста человек облетело все бараки. Привычные уже ко всем испытаниям, мы встретили его равнодушно. Однако, лагерный комитет был встревожен. Все члены комитета разошлись по баракам, убеждали всех пленных не выходить без разрешения лагерного комитета.

Я направился в шестой барак. Там сильно спорили. В этом бараке помещались все шаргуновцы.

— Надо выделить сто человек! — кричал Шаргунов. — Пусть едет, кто желает.

— Нет, не дадим ни одного! — возразил Соколов Леня, который был в одной команде с Шаргуновым еще в Германии. — Если им нужно, пусть забирают всех из этого грязного болота.

— Куда он вас всех заберет, на шею что ли? — наступал Шаргунов.

— А зачем ему сто человек? Он так нас разобьет всех по сотне. тогда ему легко заставить нас работать. Твое дело уж знаем... Мутишь людей! — вспыхнул Соколов.

— Кто, я-то?..

— Да, ты-то, знаем, что за птица.

— А ты, дурак, заткни глотку!

— Сам заткни, а то мы тебе заткнем.

Здоровый, с широкой грудью Соколов шагнул вперед к Шаргунову. Сжимая кулаки, он вытянулся во весь рост и готов был броситься на Шаргунова. Без драки бы не обошлось, но в это время распахнулись двери и вошли солдаты. Они были вооружены карабинами. Я вернулся в свой барак.

Костров Паша возбужденно закричал:

— Закройте двери! Не пускайте солдат! Не дадим ни одного человека.

Дядя Ваня, никогда не слезавший со второго этажа нар, вдруг начал строить вокруг себя баррикаду, — он все свои вещи свалил в кучу и ждал наступления. Глядя на него, стали делать «баррикады» для самозащиты и другие.

Несмотря на настойчивое требование коменданта и солдат, к двенадцати часам дня из бараков не вышел ни один человек. К двум часам дня к лагерю прибыла кавалерия сенегальских стрелков. Африканцы оцепили лагерь. Под командой белого офицера они ворвались в бараки. Они хватали пленных за ноги и стаскивали на пол, — в грязное болото. Волоком по земле тащили к дверям и выбрасывали на улицу. Между черными войсками и русскими началась ожесточенная схватка. Не выдержав натиска сенегальцев, мы отступали вдоль нар в другой конец барака. Крик, шум и гам — все сливалось вместе.

Костров командовал:

— Товарищи, ломай нары! Строй баррикады! Все равно не сдадимся.

Мы послушали Кострова. Нары треснули, покачнулись и рухнули посреди барака.

Но вот один сенегалец поймал чью-то бороду. Старик неистово вскрикнул от боли. Сенегалец стащил его с нар и толкнул в грязь. Другого русского схватили два сенегальца за ноги, но этот уцепился за проволочную сетку и не сдавался. Сапоги сдернули у него с ног. Подбежавший офицер ударил ручкой нагана по пальцам его руки. Бедняга больше не вытерпел, оборвался и упал в грязь под ноги сенегальцев. Его подхватили и выбросили на улицу. Другой сенегалец подскочил к Горячеву, схватил его за воротник рубашки. Горячев вскочил, выпрямился, наливаясь кровью и багровея от стянутого ворота, напряг все силы, чтобы вырваться. К нему поспешил еще второй сенегалец, но в последний момент, когда уже Горячева стиснули четыре сильные руки, подскочил Костров Паша. Он быстрым прыжком, ловко ударив по рукам сенегальца, освободил Горячева. Черножий страшно скривил губы, вскинул винтовку вверх. Приклад винтовки блеснул в воздухе, с силой ударился о стойку нар. Паша вовремя успел ускользнуть из-под удара. Я схватил чей-то ранец и бросил под ноги сенегальца, гнавшегося за Пашей. Сенегалец упал. Паша и я вскочили на сломанные нары.

Пока сенегальцы расправлялись с малосильными в одном конце барака, в другом строилась крепкая и надежная баррикада. Разгоряченные люди ничего не жалели, все сваливали в одну кучу.

Стрелять сенегальцы не получили разрешения, а было приказано брать пленных силой. Однако, руками нас взять оказалось почти невозможно. Мы крепко забаррикадировались в углу барака.

Уже стемнелось. Раздалась команда офицера «строиться». Сенегальцы вышли из бараков, уведя все-таки с собой девяносто двух человек.

Еще небывалая за все время плена организованная борьба произошла так неожиданно, так быстро, что все мы удивились своему геройству. Но мы боролись не против сенегальских солдат, а против тех, кто ими руководил — французских офицеров, которые хотели силой заставить нас выйти на работы.

5

Сквозь сон слышу — кто-то толкает меня в бок. Открыл глаза — в густой темноте ничего не видно.

— Вставай... — прошептал надо мной тихий голос Кострова.

Я вскочил. В эту ночь мы должны совершить побег. Днем Паша и я ходили по лагерю, высматривая удобное место, где лучше можно пролезть через четыре ряда проволочных заграждений.

— Одевайся... пора... — повторил Паша.

Не зажигая огня, мы оделись и слезли с нар. Я разбудил Чапова, Костров — Денисова. Простились, пожали друг другу руки.

Из барака вышли тихо, затаив дыхание, пробирались вперед ощупью.

Ночь была темная, долина у подножья лагеря зияла черной пропастью, затопленной морем темноты. Изредка сквозь разорванные облака мелькали звездочки и вновь исчезали. Мы шли молча, осторожно ступая по жидкой грязи. До проволочного заграждения нам надо было пройти еще метров сто. Отлогая площадка лагеря затрудняла наше продвижение. Ноги то и дело скользили. Вблизи заграждения ногами нащупали лужайку, опустились на нее, ползком стали приближаться к проволочному заграждению. Паша полз впереди, я за ним. Через каждую минуту останавливались, прислушивались к шагам постового, собирали все усилия овладеть собой, сохранить спокойствие.

Вот и проволочное заграждение, его пересекает канава, по которой мы должны пролезть. Она была в полметра глубины, начиналась в лагере и кончалась по ту сторону четырех рядов колючей проволоки. К счастью, она была сухая. Паша на минуту застыл на месте, скатился в нее и, не теряя напрасно времени, полез на животе. Следуя за Пашей, я слышал сильное биение своего сердца, его стук отдавался в земле, словно шаги часового.

Паша уже сравнялся со вторым рядом проволоки, а надо мной еще был первый ряд. Под третьим рядом на пути встретились колья, вколоченные в землю. Их надо было осторожно вынуть и поставить обратно, чтобы утром не навести на подозрение часовых. Благодаря мягкой земле Паша без особых трудностей вынул их и поставил сбоку канавы. Три кола Паша уже вытащил, остался еще один. Вдруг я вздрогнул, Паша подался назад и замер на месте, плотно прильнув к земле. Совсем близко послышались шаги. Брякнула проволока. Где-то далеко в пустоте ночи грохнул ружейный выстрел. Шли минуты, а они казались мучительными часами. Мы находились в таком положении, что ни вперед, ни назад... Канава вела под откос, мы лежали, затаив дыхание, вниз головой, и вернуться назад из такого положения не представлялось никакой возможности.

Вот Паша осторожно приподнял голову, я оглянулся. Шаги часового стихали. Паша толкнул меня ногой, мы полезли дальше.

Сравнявшись с третьим рядом проволоки, я поставил на прежнее место все четыре кола. Паша за это время уже вылез за четвертый ряд проволоки и исчез из вида. Угрожала опасность мне поте-

рять Пашу в этой непроницаемой тьме ночи. «Надо во что бы то ни стало догнать его», подумал я, двигаясь на животе. Хлястик шинели зацепился за проволоку четвертого ряда. Рвануть никак нельзя, проволока может зазвенеть, а это привлечет внимание часового.

С правой стороны послышались шаги. Страх охватил все тело, от волнения захватывало дыхание, сердце так сильно билось, что казалось вот-вот вырвется из груди. Но вот шаги часового стали удаляться. С трудом мне удалось отцепить хлястик и я полез дальше. Паша, спустившись в небольшую лощину, ожидал меня. Его я заметил тогда, когда подлез совсем вплотную. Не произнося ни звука, мы осторожно прошли сквозь колючий шиповник и скатились под откос на шоссейную дорогу.

— Ну, кажется, благополучно, — прошептал Паша, вытирая рукавом шинели лицо, — первую опасность миновали.

Сквозь дождливые тучи пробивались звезды. На восточной кромке горизонта блеснула бледная полоска утренней зари и скрылась за тучами.

Мы оглянулись: вверху, словно под самым небом, вырисовывались черные силуэты бараков. Виднелись столбы проволочного заграждения.

Воздух был до того влажный, что становилось нестерпимо холодно. По телу пробегал озноб. С минуту мы стояли, не двигаясь с места. Ориентироваться в темноте и совершенно незнакомой местности было трудно. Знали только, что Верден находится от лагеря на север, а загорающаяся заря обозначала восток. Паша повернулся на юг.

— Пошли, теперь каждая минута нам дорога, — шепнул мне Паша, трогаясь с места.

Гладенькая дорога чуть заметно белелась. С боков ее тянулся колючий шиповник. Кругом ни звука. Мы долго шли молча, стараясь как можно легче ступать по грунтованному шоссе. При малейшей неосторожности подметки французских ботинок, окованных железными гвоздями, звонко стучали. Тогда мы останавливались, прислушивались и вновь продолжали наш путь.

Первым заговорил я.

— Какая пустота, а ведь недавно, полгода тому назад, в этом районе ревели пушки. Весь мир следил за боевыми действиями под Верденом. Здесь дрались французские, английские, русские и, наконец, американские войска с немцами. Тысячи расстрелянных, разбросанных в полях и ухабах. Земля упитана кровью. А для чего?.. Кому нужно?..

— Нам не нужно, — ответил Паша, — а им нужно. Им, капиталистам, тесно жить, да и нашего брата расплодилось много. Вот и убавили... Эх, — после некоторой паузы снова заговорил Паша, — сейчас бы я, кажется, поднялся на крыльях и перемахнул в свою родину, нашу советскую родину. Несмотря на все свои невзгоды и утраченное здоровье, я пошел бы в ряды Красной армии и за все отомстил бы. О-о-х, отомстил бы!

Последние слова Паша произнес сквозь зубы сдавленным от гнева голосом.

— Скоро отправят нас в Советскую Россию, — ответил я.

— Или на тот свет, — добавил Паша.

— Правда, последнее для них легче. Невыгодно нас даром кормить и жаль отправлять в Советскую Россию, они знают, что мы с охотой пойдем в Красную армию и будем их бить. Но ведь и нет закона морить голодом, издеваться так над невинным человеком, как над собакой.

Тем временем загоралось утро. Наступал день. Мы шли по незнакомой дороге в неизвестном направлении. Наша цель побега — найти лагерь Суэм или в крайнем случае какой-нибудь другой, с русскими. Узнать их положение, поделиться своим бытом, совместно требовать отправки в Россию. Постановление лагерного комитета мы решили выполнить.

Шли часы. К полдню рассеялись тучи. Засветилось мартовское солнце и заиграло на повядших кустах калинника. Каркая, стаями летали голодные вороны, ища добычи среди братских могил.

Прошли длинную и ровную долину, поднялись на гору. Позади нас далеко на горизонте в противоположной стороне долины вырисовывался наш лагерь, из которого мы ушли ночью.

Впереди нашего пути, прикурнув к подножью горы, виднелась маленькая деревушка. Осмотрев окрестность и не найдя ничего привлекательного, мы направились к деревушке.

Деревушка домов из пятнадцати, совершенно разрушенная снарядами, напоминала о жестоких боях в этом районе. Жителей не было. В разбитые окна виднелась обвалившаяся штукатурка и обрушившиеся потолки. Кой-где зияли закопченные пасти уцелевших каминов. Паша остановился.

— Здесь мы не найдем и заплесневелой корки хлеба, — сказал он. — Пойдем дальше...

Дорога из деревни вела между двух гор. Где-то недалеко прозвучал паровозный гудок. На перекрестке двух дорог стрелка на столбе показывала направление на город Бар-ле-Дюк. Пошли туда. Но не прошли и километра, как оба, словно чем-то ошеломленные, разом встали. Паша в недоумении взглянул на меня.

Неожиданно перед нами вырос лагерь. Он был с левой стороны дороги и так искусно замаскирован, что на далеком расстоянии его трудно заметить. Во Франции, в большинстве случаев, лагеря построены под прикрытием. Так и тут: слева, углом с севера на запад возвышалась гора. На восток от подножья горы тянулся лес и лишь только с южной стороны поле, усеянное мелким кустарником. Сверху не сразу можно заметить лагерь, так как крыши бараков замаскированы под цвет зелени и на далеком расстоянии сливались в один цвет с кустарником. Отсутствие проволочного заграждения говорило о том, что в лагере живут нерусские. Ворота были открыты. Между бараков виднелись солдаты, подводы и машины.

— Войска? — с тревогой сказал я. — Нам надо уходить. — И я уже хотел вернуться, но Паша остановил.

— Постой! Это не французы. Мне кажется — сенегальцы.

— Тем хуже. Мы с ними недавно знакомились в своих бараках.

— В бараках одно дело, а здесь другое... Пойдем в лагерь...

— Паша, ты с ума сошел?.. Нас арестуют...

— За что они нас арестуют? Идем!..

Я долго уговаривал Пашу не заходить в лагерь, поискать продуктов для себя где-нибудь в другом месте у вольных французских крестьян. Однако, убедился, что его упрямство не сломить, а тем временем нас уже заметили из лагеря. Два солдата, отделившись от группы, шли по направлению к нам. Волей-неволей я последовал за Пашей.

Черные сенегальские стрелки, сыны знойной Африки, недавно так жестоко расправлявшиеся с нами в бараках, сейчас совершенно иначе встретили нас.

Как только вошли в лагерь, нас встретили двое, те, что шли навстречу.

— Здравствуйте, товарищи!—поздоровался Паша по-французски.

Они ответили по-своему.

Когда мы подошли вплотную к солдатам, то узнали, что это не сенегальцы, а американские негры. Африканская форма солдат немного желтее и каски у них глубже. Негры были в защитных, травяного цвета мундирах и в широких стальных касках.

— Камрад, дайте хлеба! — обратился Паша к первому из них.

Солдат не понял его, сверкнул зубами, кивнул товарищу.

Паша повторил по-немецки.

— Товарищи, дайте хлеба!

Негры тем временем обступили нас кольцом, кругом блестели белые зубы и черные лица. Они, показывая на нас, кричали что-то непонятное.

Вероятно они не могли узнать, кто мы, да и узнать-то было трудно: шинель на мне русская, мундир американский, шаровары и ботинки с обмотками французские. У Паши шинель и шаровары русские, мундир тоже американский. Фуражки у обоих были русские.

Не зная их языка, я решил сказать по-французски:

— Мы — русские...

— Русь!.. Русь!..—закричали негры, обступая нас со всех сторон.

Костров показал на живот. Дескать, мы есть хотим.

Один из них, высокий с широким лицом, схватил Пашу за руку и потащил. Двое подбежали ко мне и тоже потянули за Пашей. Сначала я испугался, думал, сейчас нас бросят в каземат. Но вскоре мои опасения исчезли. Мы очутились в столовой за одним столом с Пашей. Не прошло и пяти минут, на столе появились суп, рисовая каша, галеты и белый хлеб.

Проголодавшись за время дороги, мы опоражнивали тарелку за тарелкой, ели со звериным аппетитом вкусный обед. Пили квас, закусывали пряниками и галетами.

Паша ослабил ремень, подтянутый им еще в дороге. Дышать становилось тяжело, а усердные негры подносили хлеба, меду, папирос и махорки.

— Ешь, русский, ешь!.. — по-французски кричал услужливый широкоплечий негр.

— Мерси, товарищи, мерси, — отвечали мы разом.

— Ух, не могу, кажется, еще за всю жизнь так не наедался. Сейчас лопну, — говорил Паша, закуривая сигаретку.

Тот же высокий и широколицый негр с блестящим, словно отполированным, черным лицом и как снег белыми зубами весь остаток продуктов уложил в мешочек и подал Паше. Мне насовали полные карманы галет, табаку и папирос.

— Русь хороший товарищ! Русь бум-бум всех... — сказал широколицый, представляя из себя пузатого буржуя.

Он этим объяснял, что русские — хорошие товарищи, бьют толстых буржуев.

Все смеялись, кричали каждый по-своему, одевали наши фуражки, нам давали свои. Вдруг все стихли. У дверей раздался громкий голос команды, негры вытянулись и замерли. В столовую вошел белый офицер с двумя солдатами военной полиции.

— Кто вы? — спросил нас по-французски офицер.

— Мы — русские, — ответил Паша.

— Арестовать! — бросил офицер и обернулся к солдатам, вытянувшимся в струнку.

Двое солдат, сопровождавших офицера, подскочили к нам и повели.

— До свидания, товарищи, до свидания!—на ходу крикнул Паша.

Молча, плотно стиснув зубы, стояли черные солдаты, провожая нас дружескими взглядами. Два солдата военной полиции вывели нас из лагеря и повели по направлению к городу Бар-ле-Дюк.

У меня зарождалась мысль бежать, но, оглянувшись кругом, пришлось отдумать. Справа крутым обрывом возвышалась каменная стена горы. Слева — чистое поле, и лишь на расстоянии полкилометра темнел кустарник.

Паша шел, заложив правую руку в карман, набитый галетами. Под левой мышкой у него был узелок с хлебом. Сзади, тихо разговаривая, следовали солдаты.

— Продуктами теперь мы, Паша, обеспечены по крайней мере на два-три дня. Если бы удалось убежать!..

Паша оглянулся и ответил:

— Подстрелят.

— У них револьверы-то в кобурах. Если бы лес близко, можно тягу дать.

— Обернуться, да в морду их... Пожалуй, не справимся, здоровые черти... — Паша засмеялся.

Лепетавшие по-своему солдаты замолчали, насторожились.

— Не понимают ли они по-русски? — сказал Паша и, обернувшись, спросил:

— Товарищи, итти далеко еще?..

Солдаты грубо крикнули, показав рукой на дорогу.

— Ну, с этими не сговоришься. Злые, несмотря что белые.

— Из военной полиции. Видишь, черные нашивки на рукавах. Это те же полицейские, только в солдатских шинелях.

Вскоре дорога круто повернула вправо. Впереди виднелась деревушка. Солдаты подвели нас к одному из домиков, открыли дверь и велели зайти. Как только мы зашли, дверь захлопнулась, щелкнул с улицы запор. Мы оказались в маленькой каморке с одним небольшим окном. В углу стоял топчан, на нем куча пыльной соломы.

На полу валялись грязные тряпки, немецкая шинель с оторванным рукавом и французская каска. Квадратное оконце запутано колючей проволокой. Я подошел к нему, посмотрел на улицу.

Против окна расстилалась небольшая площадь, в конце ее стоял древний с обвалившейся штукатуркой костел, за оградой виднелись памятники с крестами.

Мимо окна проходили солдаты, офицеры и изредка вольные граждане. Чтобы рассмотреть, что делается влево и вправо, — я вытянулся на носках, прильнув к стеклу, но так как боковые стены слишком толсты, из-за них ничего не было видно. Вдруг к окну подошел солдат с винтовкой на плече, он повернулся и широкой спиной загородил окно. Это был часовой, охраняющий нас.

Вот уже третьи сутки как мы сидим в каземате полуразрушенного домика неизвестной деревушки. Под окном стоит солдат негр. Он украдкой в открытую форточку иногда протягивает руку и подает кусок хлеба или сигаретку. Паша пытается с ним объясниться, но негр отворачивается. Мимо окна шныряют офицеры и, повидимому, он боится говорить с нами.

На четвертые сутки с шумом подкатил автомобиль и остановился под окном. Нас вывели, посадили в него и повезли. Через некоторое время машина остановилась в большом американском кавалерийском лагере, расположенном под прикрытием с одной стороны леса, а с другой стороны — высокой горы.

Пашу и меня поместили в бараке вместе с белыми американцами. Дежурному по бараку было приказано стеречь нас. После сытного обеда пришел часовой и нас повели на кухню резать дрова.

Вечером американцы затеяли игры. В углу играл патефон. Начался бой в бокс. Веселые ребята не дали скучать и нам. Они надели мягкие перчатки на руки Паши и мои и велели бить друг друга.

Я видел бой в бокс, но ни разу не приходилось драться, поэтому мы бились с Пашей как попало, по-русски. Американцы смеялись, поджимая животы. От ударов мы падали поочередно. Вставали и снова бились.

Паша всякими способами пытался завести разговор о войне. Сначала это долго не удавалось, но вот один из солдат спросил:

— Русь большевик?

— Мы — пленные, — ответил Паша.

— Коммунист? — повторил американец.

— Беспартийные...

Солдат, оглянувшись по сторонам, продолжал смелее начатый разговор.

— Русь революшин?

— Да, да... — быстро ответил Паша. — Капиталистам конец!

Он изобразил у себя огромный живот и затем ребром ладони ударил себя по шее.

Американец улыбнулся, вынул сигаретки, закурил и угостил нас.

Разговор продолжался бы и дальше, но в этот момент вошел в барак дежурный офицер. Мы разошлись и сели на свои койки.

На следующее утро нас вызвали в комендатуру. Пришел переводчик. Комендант спросил:

— Из какого вы лагеря?

— Никцевилль, — ответил Костров.

Комендант посмотрел на карту и проговорил:

— Никцевилль... Двадцать километров на север. — Он выдержал паузу и снова спросил: — Почему ушли?

— Плохо жить, — спокойно ответил Паша.

— Шпионы?

— Нет, так — гулящие.

— Большевики?

— Нет, пленные.

Комендант не выдержал и вскипел:

— Я вас конвоем отправлю!

— Как угодно, мы привычные, — также спокойно продолжал Паша, — можете и конвоем!

— Гарри! — крикнул комендант.

В комнату вбежал солдат. Комендант приказал ему вывести нас и посадить до распоряжения. А вскоре к нам явились два вооруженных солдата. Вывели из каземата, а подошедший переводчик сказал, что эти солдаты отведут нас обратно в лагерь Никцевилль.

Окаймленная деревьями, прямая как стрела, расстилалась перед нами шоссейная дорога. Позади оставался большой американский лагерь с почерневшими бараками. Справа по опушке леса паслись табуны лошадей.

Солдаты нас не подгоняли, шли медленно по ровному шоссе. Они разговаривали между собой, лениво шагая за нами. Паша нервничал, ему страшно хотелось поговорить с американцами, но не знал их языка. И все же при помощи жестикуляции, понимая несколько слов по-французски и по-немецки, мы о многом объяснились.

Конвоиры оказались хорошими ребятами. Всю дорогу мы разговаривали о войне, о революции в России, которая всколыхнула весь мир — Германию, Венгрию... Угощали нас сигаретками, давали жевательный табак.

Вечером остановились в деревушке. Ночевали у крестьянина. Впереди еще десятикилометровый путь. Но утром не прошли и пяти километров, как американцы нас остановили.

— Русь, идите, — сказал один из них по-французски.

— Прощайте! — повторил другой и подал руку.

Мы не верили, что, не доведя до лагеря, американцы отпускают нас. У меня блеснула мысль: не думают ли они подстрелить нас при попытке к бегству?.. Но когда я взглянул на их веселые улыбающиеся лица, — мои подозрения исчезли. Дружески попрощавшись с нами, они снабдили нас на дорогу табаком и пошли обратно.

Поздно ночью, тем же путем, вернулись мы в свой лагерь и узнали об исчезновении Чапова. Паша ни за что не верил, не верил и я, что Сергей убежал.

— Тут дело шаргуновцев... — сказал Паша.

— И я цьему ни вирю, Павло, — с грустью проговорил дядя Ваня, — тут дило ни чисто. Ей-бо щось кроится. Не може быти цього.

Человик боровся за тэ, що б нам усим гарно було и вдруг тикаты. Ни, ты правду кажешь, що дило наших ворогив.

— Где Шаргунов? — спросил Паша.

— Вин живе спокийно в шистому бараки. Хлопцы кажут, що Шаргунов перед тим, як вызвали Сережу, був у коменданта.

— Я так и знал! — воскликнул Паша. — Вторая жертва его рук. А завтра будет третья... А вы, товарищи, где были? — Паша набросился на Горячева и Денисова. — Зачем отдали?..

— Кто знал, что так получится, — оправдывался Горячев. — Чапов ходил к коменданту, требовал от него исправления насоса. На другой день комендант прислал записку, потребовал двух человек. В записке не говорилось, чтобы шел Чапов. Там сказано, выслать двух человек, — одного из них слесаря. Чапов сам согласился. Взял Назарова и пошел.

— Так, значит, он с Назаровым?..

— Да, с моим мальчиком, — сказал дядя Ваня, — гарный хлопец, ще завсем молодый. Дурно загине.

— А перед этим, дня за два, бесследно пропал из шестого барака Соколов, — заявил Денисов, — также был вызван по записке.

— Леня? — вскрикнул я.

— Леонтий Соколов. Будто бы Шаргунов сказал ему: ты монтер, иди к коменданту, исправишь динамо, дадут свет для лагеря. Соколов с радостью согласился, ведь он член лагерного комитета. А вечером сержант заявил, что Соколов убежал.

Я вспомнил момент, когда Соколов ругался с Шаргуновым, когда он готов был избить его, но вошедшие в барак солдаты помешали ему. Соколов ненавидел Шаргунова. Находясь в одном бараке, постоянно спорил с ним; и он стал жертвой подлого предательства.

— Дальше этого терпеть нельзя, — сказал я, дрожа от волнения.

Паша встал, заломив пальцы, прошел два шага вперед и быстро остановился против Денисова.

—Теперь твоя очередь. Иди в Верден и узнай, где Чапов.

Денисов на минуту опустил черные глаза в пол.

— А если попадусь?

— Когда мы уходили из лагеря, об этом не думали, — ответил Паша.

— Ладно. Сегодня ночью пойду.

Еще с первых дней пребывания во Франции мы категорически отказались производить нам поверку ежедневно. В Вердене, по приказанию генерала, комендант выдал на каждого из нас бумагу и каждый из нас должен был написать свою фамилию, имя, отчество, указать губернию, уезд и деревню. При этом комендант заявлял, что нас будут отправлять в Россию по губерниям. Но списков мы не дали, а бумагу искурили. Поэтому у французов наших фамильных списков не было. Считали нас только тогда, когда группу в тысячу-две отправляли в другой лагерь. Так и в лагере Никцевилль нас поселили тысячу двести человек, на это количество ежедневно и выдавался провиант. Старшие каждого барака знали счет своим людям и требовали на них по количеству все, что нужно. Если кто убежал без ведома старшего барака или лагерного комитета, на него получался паек в

течение шести-семи дней. А потом уже заявляли об его исчезновении. О нашем побеге с Пашей комендант не знал, и он прошел безнаказанно.

На второй день вечером Денисов стал собираться в путь. Спать он не ложился, чувствовал себя вполне здоровым и спокойным. Лежа на нарах, Паша и я наказывали ему, как лучше выйти из лагеря. Советовали не заходить в лагеря, где находятся воинские части.

Денисов молча слушал наши наставления. Дело, которое ему поручал лагерный комитет, было нелегкое. Надо узнать, где Чапов, Назаров и Соколов. Если они сидят в крепости — мы этим разоблачим гнусный поступок комендатуры, которая всевозможным обманом вылавливала наших руководителей с тем, чтобы ослабить организацию лагерей.

На Денисова мы надеялись. Это был человек крепких нервов, безгранично смелый, с горячим сердцем, в то же время веселый, с постоянно улыбающимся лицом, как смоль черными глазами. Денисов Митя был из рода цыган. Он как-то мне рассказывал, что его родовая фамилия «Денис», что его отец еще в молодости приписал «ов» и с тех пор он пишется Денисов.

Родился Митя в Бессарабии. Отец долгое время содержал кузницу на окраине города Кишинева. Он, молодой Митя, помогал работать отцу, научился гнуть подковы, делать крюки и петли к дверям. В 1915 году ему исполнилось двадцать лет, и царское правительство призвало его в армию. Вскоре после трехмесячной учебы его отправили на западный фронт.

Война, тяжелый плен и новые мытарства во Франции перерождали Денисова, закаляли его силу для новой борьбы. Если он еще годдва тому назад не мог представить в своем уме, «для чего война, кому она нужна», то он сейчас смело говорил: «Капиталистам нужна война для наживы, для большего порабощения уже порабощенных масс». Хотя, будучи оторванными от окружающего нас мира, политику борьбы мы не совсем ясно понимали. Во многом мы были еще наивными.

— Пора... Прощайте! — неожиданно перебил мои мысли Денисов.

— Возьми хлеб, пригодится, — сказал я, пожимая широкую ладонь Мити.

Денисов спустился с верхних нар на землю и исчез в темноте. Тихо стукнула дверь. Вновь тишина.

Прошло три недели с тех пор, как ушел Денисов из лагеря. Я сильно беспокоился за его жизнь. Вспоминали о нем и ожидали каждую ночь его возвращения. Бывало, проснусь, подниму голову и рукой пощупаю то место, где спал Митя, но постоянно нащупывал только его ранец — и, разочарованный, опять засыпал.

Много изменилось в лагере за это время. Сменили коменданта, конвой, стали привозить воду и варить обеды, а третьего апреля, рано утром, вывели нас из лагеря, построили и отправили на станцию. Так и не видели больше мы Денисова Митю.

ДМ. СЕМЕНОВСКИЙ

САД

ПОЭМА

ПРОЛОГ

1

Пригожи вы, расцветшие поля,
и трогательны красотой непрочной.
Летит на вас, морозами паля,
железный ветер из страны полночной.
Какой тебя, продрогшая земля,
согреть весной, неслыханной, бессрочной?
Мы человеческим теплом своим
тебя согреем и обогатим.

2

Долга зима на севере. Полгода
лежат снега и голубые льды.
Коротким летом скудная природа
вынашивает скудные плоды.
Обманчива весенняя погода.
Тепло и тишь. Но берегись беды:
дохнул мороз — и лепестки метели
на лепестки черемух полетели.

3

Дохнул мороз — и гибнут лепестки,
дохнул мертвящим веяньем невзгоды —
и чахнут неокрепшие ростки
и пропадают молодые всходы.
Скупа земля на севере: пески
да супеси. Нет правды у природы!
Всегда, всегда была обделена
ее дарами наша сторона.

4

Природа, в яром хаосе творенья,
увлечена пристрастием слепым,

весь гений свой, всю силу вдохновенья
ты отдала тем странам голубым,
где только нежит ветра дуновенье,
где сад не знает наших лютых зим.
Там черной почвы могутные недра
плодов богатство рассыпают щедро.

5

Пустыню сделать садом! Залучить
в страну морозов южные побеги!
Пусть не боятся снега! Приручить
балованных детей полдневной неги,
к чужой и жесткой почве приучить
и к вашим стужам, вешние ночлеги,
когда земля звонка, когда она
вся инеем крутым посолена.

6

И в тех местах, где с визгом мчится вьюга,
где космами она поля метет,
наклонятся сады под ношей юга,
переселенцем Крым сюда придет.
Бессмертен подвиг, велика заслуга —
в снега продвинуть юг! И счастлив тот,
чья маленькая жизнь дотла сгорела
на праздничном костре большого дела.

7

И бедный самоучка-садовод,
как в поисках таинственного клада,
прилежно роет землю каждый год,
воспитывает лозы винограда,
и прежний захудалый огород
шумит ветвями молодого сада,
шумит, как знамя жизни, в дымной мгле
на пепельной ивановской земле.

8

В зеленый сад идут из сел и слобод,
чтобы увидеть виноград в росту,
отводков взять. Успех не даром добыт.
Достался он в бессонницах, в поту.

Самцов читает, ищет, копит опыт.
Избрав своей любимой книгой ту,
листы которой — это листья лета
и лепестки весеннего расцвета.

9

И вот враждебным силам вопреки
ослаблено стихий противоборство,
под натиском настойчивой руки
сломилось глины скаредной упорство.
Как мотыльки, трепещут лепестки,
взлелеянные грудью почвы черствой.
Усильями труда пробуждена,
счастливой стала матерью она.

10

Там, где давно погибли б недотроги,
оранжерей надменные жильцы,
глубоко врыв в чужую землю ноги,
растут и крепнут юга посланцы.
Не страшны им холодных рос ожоги,
не нужны им стеклянные дворцы.
Рожденные на почве полуденной,
они привыкли к стороне студеной.

11

Как в сапогах, стоят кругом стволы,
обмазанные известью и глиной.
Спеваются на яблонях щеглы,
малиновки летают над малиной.
Как хорошо с утра до поздней мглы
роднить вишневый черенок с рябиной
иль под весенний месяц молодой
поить присадки ключевой водой!

12

И кто попал в зеленый сад Самцова,
тому все время кажется, что здесь,
где лето — кратко, а зима — сурова,
какое-то второе солнце есть.
Иначе как бы майская обнова
могла на этих южных ветках цвесть?

То человека творческая сила
бутоны их согрела и раскрыла.

13

Уж он не молод, скромный садовод,
носитель этой силы животворной.
Морщин дорожки. Крепко сжатый рот,
примета воли твердой и упорной.
Вот он с земли садовый нож берет
рукой широкой, от загара черной.
Но в сад приходят люди. (Осень. День
сошел на предзакатную ступень.)

14

И Федор Аникеич без отказа
ведет гостей среди терновых бус.
Котенок смотрит со скамьи вполглаза.
Готов взорваться вызревший арбуз.
— Вон там — цветы... из Крыма, с гор Кавказа.
Тут — виноград. И вид не плох, и вкус.
Растет спартанцем: не в тепличной холе,
зимой и летом все на вольной воле.

15

Как ягоды черемух и рябин,
здесь фиолетовая зреет слива.
Поражены пришельцы. Вот один
снял свой картуз. Бела густая грива
Глядите все: он дожил до седин,
а не видал нигде такого дива.
— Скажи, сынок, скажи — не потаи,
как вырастил ты дерева свои?..

16

Самцов глядит спокойно и открыто.
Лукавить он не любит, не горазд.
Да, чем победа жизни здесь добыта?
Сейчас он им ответ правдивый даст.
Вот тут, в земле, его любовь зарыта
его душа легла под этот пласт.
Она трепещет бабочкой цветочной
и в руки грушей отдается сочной!..

17

Его худое темное лицо
похорошело. Жесткая прохлада
сквозное обнимает деревцо
сжигающим дыханьем листопада.
Садятся перед садом на крыльцо.
Ядрен и густ осенний запах сада,
а солнце спелым золотым плодом
тихонько никнет за соседний дом.

18

Чуть внятно шепчет сад-родоначальник
других таких же, как и он, садов, —
таких же, как и он, необычайных
в глухом краю снегов и холодов.
Он шелестит, что средь полей печальных
рассыплются сокровища плодов,
и север неприветливый, холодный,
страною обернется плодородной.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Осенний день. Степных дорог разбег.
Повозки санитарного отряда.
Чу! Воет воздух. Миг — и меж телег
стальная обрушилась громада.
И, как пушинка, брошен человек
освобожденной яростью снаряда
на придорожье. По лицу ползет
кровь алой змейкой. Крылья рук — вразлет.

2

Еще хлестало по степи свинцовым
кнутом пальбы. А он лежал в траве
с безжизненным лицом. Крестом пунцовым
пылала перевязь на рукаве.
И, как сестра, над Федором Самцовым
склонилась тишина. И к синеве,
такой высокой, чистой и бездонной,
был вскинут взор, по-детски удивленный.

3

Степь коршунов скликала на тела
и синекрылых воронов манила.
А он лежал, и тихо кровь текла,
промачивала шлем, траву кропила.
И жизнь о нем со смертью спор вела:
— В нем дремлет неистраченная сила,
еще не отдал миру он всего,
чем миг зачатья одарил его...

4

Очнулся он на койке в лазарете.
В окно смотрел заплаканный рассвет.
В его холодном сероватом свете
печален был походный лазарет.
Стонали раненые. И под эти
глухие стоны вспомнил он, как бред,
рев и напор и зной свинцовой бури,
и тишину и глубину лазури.

5

Да, вот она, палящая огнем,
промокшей марлей повитая рана.
...Забыться вечным непробудным сном?
Нет, он не хочет умирать так рано.
Нужна ему рябина под окном
и майская черемуха желанна.
О, чем связать, о, как соединить
ему полуоборванную нить?

6

Он жить хотел. Но жизнь еще не смела
вступить в свои привычные права.
Контуженная голова горела,
лежала под глазами синева,
лицо светилось белизною мела
и руки были слабы, как трава.
И смерть стояла возле изголовья,
и не было, все не было здоровья.

7

Раскачивался и гремел вагон.
Качался и мигал фонарь бессонный.
За голубыми стеклами окон
летела ночь, бежал простор студеный.
Ноябрьский день, последний перегон —
и госпиталь эвакуационный.
Лежал, ресницы темные смежив,
и чуял, знал: теперь он будет жив.

8

Зима несла морозы и метели,
рядила окна инеем и льдом.
Он вспоминал, прикованный к постели,
село на юге, детство, отчий дом...
Потом — завод серебряных изделий,
московских улиц спешку и содом...
— Ну, брат, живи, учись да старших слушай, —
сказал отец, прощаясь с Федюшей.

9

Был Федя худ и ростом невысок.
На фабрике жилось ему не в холе.
Работая за кров и за кусок,
он пестовал мечту о лучшей доле.
По праздникам бежал побыть часок
в художественной Строгановской школе.
Он рисовал не плохо. Почему
не сделаться художником ему?

10

Художником не стал, а подмастерье
из Феди вышел дельный, разбитной.
Шел пятый год. Роняя с крыльев перья,
заря летела в сумрак над страной.
Казалось, жизнь стояла у преддверья
иной поры. И Федор стал иной:
пел «Долю» в половодье забастовки
и обжигался сердцем о листовки.

11

Но черные настали времена.
Стране команда подана: на-право!
— Самцов, твоя работа не нужна,
тебе расчет.
— За что?..
— За пылкость нрава,
за то, что юность с удалью дружна.
И в тот же год — солдатчина, Варшава.
Там школа для военных фельдшеров
дала ему занятия и кров.

12

Три долгих года под постылой ношей.
Но вот казарма позади. Пред ним —
весь соснами кирпичными поросший
текстильный город. Фабрик серый дым.
Тут он спознался с девушкой хорошей
и вместе с нею шел путем одним,
пока не обезумела планета,
в кровавом вихре закрутив полсвета.

13

Вновь на плечах солдатская шинель
до самого семнадцатого года.
Мела поля февральская метель.
Чудесный воздух. Славная погода.
Кипел в сердцах октябрьский крепкий хмель.
Качала буря океан народа.
Разруха. Стужа. Голод. Рев пурги.
Тиски блокады. И везде — враги.

14

Пунцовый крест. Звезда с пятью лучами
Дивизия Чапаева. Бои.
Военный фельдшер, с хмурыми ткачами
встречал и он свинцовые рои.
С пахучей степью, с синими ночами
связал навек он помыслы свои, —
с тем ветреным простором приуральским,
где ранен был снарядом генеральским.

Так перед ним в лазоревом дыму
текла и волновалась жизнь былая.
Жена склонялась ласково к нему
и он, любовью и тоской пылая,
сквозь утреннюю вязкую дрему
протягивал к ней руки: — Дорогая!.
И пробуждался. Тишина. Рассвет.
Соседи спят и никого с ним нет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Над холодом, над мраком и разрухой
весна дышала нежно и тепло,
весна с капелью, с вербой, с первой мухой,
звеневшей о горячее стекло.
Под вечер в марте — звонко, лунно, сухо,
а в полдень глянь — размякло, потекло.
В такое время человек в больнице,
как птица в клетке, — скучно ей в темнице.

2

Но вот она, крылатая, вольна
и счастлива сознаньем, что крылата...
Нетвердым шагом (как пьянит весна!)
Самцов вошел в знакомый дом. Ребята,
давно завидевшие из окна
калиткой проскрипевшего солдата,
дивились гостю. Детские сердца
не сразу в нем почуяли отца.

3

Запавшие глаза. Рубец над бровью.
В усах застрял залетный ветерок.
Запятнан шлем засохшей темной кровью
на сапоги налипла грязь дорог.
Входи смелее под родную кровлю,
перешагнув истоптанный порог.
Он позади, тяжелый путь скитаний,
опасностей и страшных испытаний.

4

Целуй детей. Снимай свою шинель
в ответ на их растерянные взгляды.
Прислушивайся к чистой тишине
(а как ревели, как рвались снаряды!).
Взгляни в окно на светлую синель
небес промытых. Посмотри, как рады
теплыни золотистой воробьи.
Ты — жив. Земля и солнце вновь — твои.

5

Топилась печка. Бабка Аграфена
Несла горшок с похлебкою — и вдруг
пред ней — Самцов. Дрожат ее колена.
— Голубчик наш!
Скользит горшок из рук.
— А Паша-то — в прядильной... скоро — смена...
Как ест глаза! Ах, злой попался лук!.. —
Возилась, плача, возле самовара.
А дочка, семилетняя Тамара,

6

в отца голубоглаза, в мать нежна,
на стол носила расписные блюдца,
стаканы, чашки. Тут пришла жена,
и нету слов для чувства... не даются!
А за двойными рамами окна
плыла весна, шагала революция —
ткачихи торопились на гудки
и колыхались дыма завитки.

7

О, счастье встречи! В горькие морщины
ты лучезарное сиянье льешь.
Друзьями смотрят с темных стен картины.
Все будто спрашивает: — Узнаешь?
И пусть на блюде иглами мякины
насущный хлеб топырится, как еж,
а чаем величаемый напиток
желудку ни в утеху, ни в прибыток, —

8

что за беда?.. То были дни, когда
мы открывали, в жесткий быт врастая,
как вкусен хлеб и как сладка вода
колодезная, самая простая.
Мы запрягались в плуги — и тогда
картошку нам рожала мостовая.
В те памятные дни на города
шла с боем «огородная орда».

9

В те дни картофель новым Тамерланом
захватывал подворья, тупики.
На площадях раскидывались станом
его многознаменные полки.
Но шел октябрь, дымясь густым туманом,
мы собирали урожай в мешки
и радовались в этот год суровый
картошке свежей, жизни нашей новой...

10

Скрипел тихонько медный самовар.
Желтела посоленая картошка.
Пахучий оседал на стеклах пар.
Самцов смотрел сквозь потное окошко
на скользко голубевший тротуар,
на мостовую. — Что ж, еще немножко —
и оживет среди камней трава
и опушатся ивы рукава.

11

Трехлетний Всеволод не без опаски
ресницы вскидывал на пришлеца.
А дочь... кудрявой, тихой синеглазке
рассказов захотелось от отца.
Бывало, так она просила сказки.
Начни — готова слушать без конца.
И Федор Аникеич без отсрочки
повел рассказ... и гладил кудри дочки.

12

Он вспоминал скитания свои,
степной простор в лихом его разгоне,

мосты, костры, проселков колеи,
жизнь на телеге, на коне, в вагоне,
походные невзгоды и бои.
Привалы с пляской, с говорком гармони
и с чутким сном: — Мы были на-чеку...
Налей-ка, Паша, мне еще чайку...

13

Светилась милой девичьей улыбкой
Прасковья Александровна. В груди
запела радость драгоценной скрипкой
о необъятном счастье впереди.
Былые беды чудились ошибкой.
— Поправился ли, Федя? — Погоди,
весь огород вскопаю в две недели.
— Ой, не хвались! — Увидите на деле!

14

— Пей чай: замерзнет. — Не беда... — Зашел
сосед Кузьма Степаныч Барахолин.
Сидел на стуле, плотен и тяжел,
и, как всегда, собой весьма доволен.
— Отвоевался? Прилетел орел?..
Ну, что? Наверно, в чистую уволен?
Оно видать!.. И думается мне,
что не помощник ты своей жене!..

15

Как порох, бабка вспыхнула: — Не каркай!.. —
В старушке смирной вдруг вскипела злость.
— Сама для Феди буду я лекаркой...
От гнева бабки не смутился гость.
Посиживал себе, чадя цыгаркой.
Посиживал, как прочно вбитый гвоздь,
семье удел предсказывая мрачный,
пока дотла не сжег запас табачный.

16

Свободней все вздохнули без него.
Самцов спросил: — А что, цела гитара?
— Цела. Хоть много прожили всего,
уберегли гитару от базара!

В глазах жены сияло торжество.
— Ну, расскажи мне что-нибудь, Тамара...
И дочка рассказала про котят:
— Пьют молоко, а чаю не хотят...

17

Покуривая, на крылечко вышел.
Из луж сверкали солнца двойники.
Фабричный дым в густой лазури вышил
свои узоры. — Чу, поют гудки!
Опять их Федор Аникеич слышал.
Трубили вдалеке грузовики,
звенели тупики и переулки.
— Привет тебе, рабочий улей гулкий!

18

Рассеянно и радостно следил,
как черный клен стреляет воробьями.
В древесных жилах сок земной бродил
медлительными сильными струями.
Сырой широкий ветер молодил, —
он пах полями, первыми ручьями,
и сердце наливалось по края
счастливою тревогой бытия.

19

Кто видел смерть, кого она задела
концом неотразимого крыла,
кому хоть миг она в лицо глядела,
чью кровь земля, как дождь в грозу, пила,—
тот землю будет чувствовать, как тело,
тому вдвойне весна ее мила.
Всей кровью алой, каждой порой малой
он чует луч и запах тропки талой.

20

Хотелось от рассвета дотемна
копать, рыхлить, взбивать периной гряды,
бросать горстями в землю семена,
иль перед сном, когда среди прохлады
гудит в березах низкая струна,
сажать по ямкам корешки рассады.
— Да, всем двором, отсюда до ворот
зеленый разбежится огород!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Апрель — и неумытые окошки
освободились от ненужных рам.
По вечерам в луче танцуют мошки;
а воробьи толкуют по утрам,
что на березе — новые сережки,
что всюду по оттаявшим дворам
с восхода до вишневого заката
хозяйничает острая лопата.

2

Как жизнь под вешним солнцем хороша!
Как ветерок похож на чью-то ласку!
Шел Федор Аникеич, не спеша,
по своему зеленому участку.
Шел, сапогом травинки вороша,
небритый, загорелый, враспояску, —
и слушал, как грохочет за двором
небесная телега — первый гром.

3

И, поплевав на черствые ладони,
он сапогом на заступ наступал.
Сгибался, будто в истовом поклоне,
и выпрямлялся. И опять копал.
Ходили куры по гряде в погоне
за скользкими червями. Прилипал
к спине горячей ситец обветшалый,
к сырому лбу — шлем со звездою алой.

4

Светились одуванчики в траве,
светились солнцем, пчелами и медом.
Плыл зыбкий пух в прозрачной синеве
над взрыхленным, над черным огородом.
Почувствовать себя с землей в родстве
и помогать ее могучим родам,
выращивая зелень меж камней, —
что в дни весны прекрасней и нужней?

5

Готовил сруб. Копал канавы, ямы.
И там, где куст сиреневый поник,
две покосившихся оконных рамы
образовали маленький парник.
Здесь помидоры встанут, крепки, прямы,
тут разместится племя земляник,
а там капуста с луком и морковью
нальются земляной здоровой кровью.

6

Подчас сосед заглядывал. Ему
не нравились самцовские затеи:
— Томаты, помидоры, — ни к чему.
Была б картошка. Это — посытнее... —
День золотом окатывал Кузьму,
коптил боры его короткой шеи:
— Не выйдет, Федор, толку из труда:
земля-то наша бросовая... да!

7

Самцов не слушал. В лепестковой пене
над головой струится вешний день.
Лила угарный чад своих курений
лиловая персидская сирень.
Зеленой зыбью возле ног сирени
переливалась лиственная тень.
Гудок взбирался на крутую ноту
(жена в прядильной кончила работу).

8

Качал цветок тяжелого шмеля.
Росла трава. Играли дети в прятки.
Свежо чернела взрытая земля.
Пришла жена. Обделывала грядки.
Подкрадывался ветер, шевеля
ее волос рассыпчатые прядки,
подкрадывалось солнце, щекоча
ее глаза соломинкой луча.

9

— Устала, Паша? Ты бы посидела!
И без тебя управлюсь.

— Ничего.
Поправила платочек, поглядела
на детвору, на небо, на него,
потом вздохнула — и опять за дело.
И от ее ли взгляда, иль с того,
что небо так просторно голубеет,
он чувствовал, как сердце молодеет.

10

Далекий день вставал из забытья.
В листве закат горит рябиной спелой.
Прохладная, замшелая скамья.
И первый пыл влюбленности несмелой.
Он — скромный фельдшер, а она — швея.
О, дождик с вишен — медленный и белый!
О, холодок вишневых губ! Уж нет
тех милых дней. Давно опал их цвет.

11

Но стоит ли печалиться об этом?
Пусть он истлел, истаял на лету, —
земля вовек не оскудеет цветом,
и хорошо, когда она в цвету,
быть на ногах с лепечущим рассветом,
в труде встречать ночную темноту.
Так думал Федор Аникеич, стоя
над свежей черногрудою грядою.

12

Ато душа летела к тем годам,
когда босой, вихрастый и счастливый,
по черноморским лазил он садам
и рвал штаны о сучья старой сливы.
Потом он вырос, жил по городам,
где серый дым прядет свои извивы —
и все смутней, все реже в том дыму
сады родные виделись ему.

13

Но в эту пору, брызжущую цветом,
так ясно он увидел те сады.
Весной на них висели пчелы, летом —

оправленные в золото плоды, —
подобные то солнцам, то планетам
тела из солнца и земной воды.
Когда б их почкам и тугим бутонам
раскрыться здесь, расцвесть в краю студеном!..

14

А в час, когда алело все окрест,
когда владели городом прохлада
и тишина, и только плыл оркестр
из розового городского сада,
он вспоминал походный красный крест,
повозки санитарного отряда,
размах полей истоптанных и вой
снарядов высоко над головой.

15

Но тихо было небо. В нем, бездонном,
бесчисленные теплились миры.
Не шевелились листья. С тонким звоном
к лицу и шее льнули комары.
И старикам и юношам влюбленным
весенний вечер нес свои дары:
одним — молву обетов и признаний,
другим — далекий свет воспоминаний.

16

— Иди домой! Окрошка на столе! —
Тамара с низкого крылечка пела.
Черемухой кудрявой в теплой мгле
ее простое платьице белело.
— Сейчас приду.
Есть радость на земле
смотреть, как нежно, празднично и смело
твоя давно погибшая весна
в цветах другой весны повторена.

17

Садился у раскрытого окошка,
где пенилась подзора кисея.
Вкусна казалась постная окрошка.
— Ребята, вам немножко киселя...

Чем будем живы? Кончилась картошка.
что на сережки выменяла я!
— Ну, ничего. Своя поспеет скоро.
Как пух, разделал землю у забора.

18

Година битв, народная страда
во имя утвержденья правды новой!
Чем дальше ты отходишь навсегда,
тем величавей облик твой суровый.
Твой грубый хлеб и голая вода
несли железо бодрости здоровой,
и жизнь, и силу, и огонь несли
в густую кровь людей моей земли.

19

Блестела опорожненная миска,
к ее краям пристал зеленый лук.
В окно тянуло тополями. Низко
с гуденьем струнным проносился жук.
Брехали псы в калитках. Где-то близко
катился дробный колотушки стук.
И Федор Аникеич, отдыхая,
прислушивался к переливам лая.

20

Или читал — и по его лицу
как бы зарницы пролетали. Или,
сломав котенком льнущую ленцу,
шел улицами, белыми от пыли.
Вдали по заревому багрецу
чернила дыма трубы густо лили
и в маслянистом зеркале реки
фабричные дробились огоньки.

21

Садами беден город ситца. Всюду —
лишь пыль да камень. Летние лучи
без милости накаливают груду
домов и фабрик. Жарко, как в печи.
Цветку среди булыжников, как чуду,

весной дивятся радостно ткачи.
Но лепестки цветка от пыли серы,
в пыли — бульвары, садики и скверы

22

И чудился Самцову город-сад,
весь в изумрудных лиственных монистах
венки аллей вкруг заводских громад,
прохлада парков, свежих и тенистых.
Большие руки бережно взрастят
семью цветов на мостовых кремнистых,
рассыпав астр и лилий семена, —
и обновятся улиц имена.

23

И юноша пошлет письмо невесте
по адресу: «Сиреневый район,
дом № 10 в Розовом проезде», —
благоуханьем звуков опьянен.
«Поселок Лип... Садовое предместье», —
певуче прочитает почтальон:
«Березовая... Улица Пионов...
Сосновая слободка... Площадь Кленов»...

24

В таких мечтах Самцов достиг ворот
резьбой кудрявой убранного дома.
Толкнул калитку. Садик. Огород
Матвеева Сергея, агронома.
А вон и сам он от крыльца идет.
Весь обгорел, а брови, как солома.
— Ну, здравствуй, Федя... в кои веки, брат?
Пойдем в жилье, будь гостем, рад — не рад.

25

Колосья, стебли. Ярлычки названий.
Здесь повстречались поле и гряда.
Согрелся чай. Самцов своих скитаний
стремительные вспоминал года.
Матвеев слушал. Чай темнел в стакане.
Синели окна. Пахла резеда.

— Теперь, как ты, копаю землю. Надо
отводков мне на разведенье сада...

26

— Отводков дам...
Сидели под окном.
Давно затихла мглистая округа.
Одним и тем же праздничным огнем
в вечерней мгле светились оба друга,
и толковали оба об одном:
о диво-саде, где растенья юга
питает почва северная: — Вот
чего достиг козловский садовод!

27

— Да, не напрасно в схватках трудных родов —
в гражданских распрях — сотрясался край.
Жизнь здоровеет силой свежих всходов,
как этот сад!..
Светил бессонный май
глухой зарей над новью огородов,
над мягкой пылью улиц. — Ну, прощай!..
Как тосковало тело о постели,
как сны над ней роились и густели!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Страны прекрасной маленький Колумб,
что волей человеческой творима,
он хлопотал у гряд своих и клумб,
у колыбели выселенцев Крыма.
Когда весною в лужи возле тумб
мороз гляделся, — одеялом дыма
цветочную он кутал детвору,
чтобы она не вымерзла к утру.

2

От ручек тачки, груженной навозом,
налет стеклянный на ладони лег.
То сам, то Паша наклонялись к розам,

лелеяли лимонный стебелек,
несли напиться виноградным лозам,
но все, как прежде, был успех далек.
Свинья соседа клумбы рылом рыла,
роса дурная жестью завязь крыла.

3

Кудрявый щебет. Гулкие грома.
Сошла вода и уж отцвел подснежник.
Но вдруг — метель... Назад спешит зима.
Трещит в печах пылающий валежник.
Бандитом стужа ломится в дома.
Мороз коробит крылья листьев нежных,
и без помех несется по земле
пурга-яга верхом на помеле.

4

Самцов шагает по дорожкам сада.
Дотла цветы повыжег мокрый снег.
Не так ли вот средь мирного посада
неистовствовал дикий печенег?
Саднила сердце жгучая досада:
— Не уцелеет ни один побег!
Все — ни к чему. Пропали все старанья.
Исполнились соседа предсказанья...

5

А Барахолин, — вот он. Торжество
в зеленых глазках сдержанно играло.
— Я ж говорил: лимоны — баловство...
Я говорил!..
Самцов молчал устало.
Потом враждебно бросил: — Ничего!
Начну сначала... все начну сначала.
Мичуринцев зеленых заведу,
забор поправлю, буду спать в саду!..

6

О, мир мещанства! Жирный, лапоухий,
с помойкой рядом выросший лопух!
Сидели под окошками старухи.
Шел Федор Аникеич меж старух.

Насмешливые взгляды, будто мухи,
его затылок щекотали. Ух,
как не любил он этот мир болотный,
лягушачий, старушачий, дремотный!

7

Все радовались тут его беде.
Но был Матвеев... были и другие:
товарищи по фронтовой страде.
Он отдыхал в их родственной стихии.
В их братской понимающей среде
вязал он волю в узелки тугие,
и говорил себе, придя домой:
— В артель собью садовников зимой!

8

Весенний день, горячий, звонкий, длинный,
нес пестрый ворох мыслей и хлопот.
Пух облаков. Туманный гул пчелиный.
Стекло мозолей и соленый пот.
Закат полнеба осыпал малиной.
Косые тени двигались в поход.
Дрема ресницы липкие смыкала,
а пред глазами все земля мелькала.

9

И вновь с утра до поздней темноты
блестели нож и заступ садовода.
Ему хотелось вырядить в цветы
кирпичный пчельник дымного завода,
развеять, снять проклятье нищеты
с нив, истомленных хворью недорода.
Поля-сады мерещились ему
у труб фабричных, в пухлом их дыму.

10

Что в яблоке осеннем краснощеком
от ясных зорь и радужных дождей
прозрачно засветилось свежим соком,
то обернется в кровь и плоть людей —
в стихи, в мечту о подвиге высоком,
в любовь и в гнев и в чистый смех детей.

И каждый персик или груша — это
улыбка, вздох, порыв, строфа поэта.

11

Пригожи вы, расцветшие поля,
и трогательны красотой непрочной.
Летит на вас, метелями пыля,
железный ветер из страны полночной.
Как ласточку во вьюгу, как шмеля,
застывшего у завязи цветочной,
дыханьем жизни, всем теплом своим
мы отогреем землю, обновим.

12

Да здравствуют ростки могучей нови!
Да здравствует кипящий пеной сад!
Пускай наливом темно-алой крови,
как сливы, губы девичьи сквозят.
Пусть вьются кудри, тонко гнутся брови
и вскармливают матери ребят,
и кровью вишен, груш и винограда
струятся в нас густые соки сада.

13

Чадит сирень, персидская сирень.
Гудят жуки с зеленых колоколен.
От аромата у луны — мигрень,
и соловей томленьем сладким болен.
В тени ворот в фуражке набекрень
стоит Кузьма Степаныч Барахолин.
Ему на песни соловья — плевать.
Вот он сейчас покурит — и в кровать.

14

От соловьев не видит он прибытка.
Обозревает сонно небосвод,
луну — она, как медная семитка, —
и чешет мягкий и большой живот.
Чу, скрипнула соседская калитка.
Самцов пошел куда-то... — Са-до-вод!.. —
Как много ядовитого и злого
вложил Кузьма Степаныч в это слово!

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

До глаз колючим инеем зарос
декабрьский вечер. Дети жмутся зябко
к лежанке теплой. В кухне на мороз,
посуду чистя, рассердилась бабка.
— Дрова-то где? В шесть дней спалили воз!
Пошла в сарай, а там — одна охапка! —
И бабка с сердцем начала тереть
песком кирпичным самовара медь.

2

Прасковья Александровна в заплатки
иголкой рядит локти пиджака.
То вверх, то вниз проворнее касатки
летит ее привычная рука.
Да, там и сям — изъяны и нехватки:
то нету дров, то детям молока.
Тамару нынче отдали учиться,
а обувь — в дырках, платьице — из ситца.

3

Глядишь — и боль по сердцу, как ножом
А муж крестьянам лекции читает
иль заполночь сидит за чертежом —
посадочный станок изобретает.
Седые дни щетинятся ежом,
а он твердит: — Как только снег растает,
похорошеет наша жизнь. В саду
я опыты с рассадой проведу...

4

Любовь и вера, вы живете рядом.
Тот огонек в ней никогда не гас,
что под вишневым тихим снегопадом
затеплился в закатный пышный час.
Растила сад. Как муж, болела садом.
В удачу, в мужа верит и сейчас.
Вон у стола на книжные страницы
он опустил недлинные ресницы.

5

Вот отодвинул книгу. Как вода
в погожий день, глаза спокойно сини.
— Ну, мне пора и двигаться. — Куда?
— Беседовать о сливах и малине.
Пиджак-то мой зашила, что ли? — Да... —
Надел пальто — и нет его в помине,
лишь заскрипело снежное крыльцо
да на калитке звякнуло кольцо.

6

Он вышел за ворота. Здравствуй, вечер,
заиндевелый вечер декабря!
Льют пухлый дым затопленные печи.
Рекой застывшей светится заря.
Галдит над голым садом птичье вече,
тревожно небо сизое пестря,
как будто кто-то по реке заката
устало тянет сеть, и сеть крылата.

7

Гармонижой примятый снег визжит
под валенками с выгчурным разводом.
И студено же! Пешеход бежит —
и тешится мороз над пешеходом.
Слезой звезда на западе дрожит.
Но вот и Дом крестьянина. Пред входом
над торбами с овсом понуро в ряд
пушисты, седы лошади стоят.

8

Полями пахнут пиджаки и платья...
Пыльна бородок и бровей костра.
Как деревянные, рукопожатья.
Как сучья, пальцы. Кожа, что кора.
— Опять хочу про сад потолковать я...
— Тебя мы рады слушать до утра.
Твои слова у нас по всем усадам
зашелестят зелено-темным садом.

9

В большой высокой комнате права
взяла зима (заведующий Домом

крестьянина скупился на дрова),
но тетке Домне с дедушкой Пахомом
мерещится ожившая трава,
весна с березкой, с круглым гулким громом
и радугой: какое-то тепло
на слушателей от Самцова шло.

10

Он говорит о почвах огорода,
о том, как сад хороший развести,
о винограде — новая порода,
свободно может и у нас расти.
Свои познанья, опыт садовода
хотел бы он повсюду разнести,
как шмель мохнатый с трепетных тычинок
разносит золото живых пылинок.

11

Все шире волны ровного тепла —
и чудится: метели откипели,
в лощине распушается ветла,
бормочут колокольчика капели
и первая травинка, как стрела
на маленьком упругом самостреле,
грозит разбитой рати холодов —
и сад знамена развернуть готов.

12

Вот яблоня накинула на плечи
тонколепестный кружевной платок.
Вот ветка земляничная на сече,
как глаз, раскрыла скромный свой цветок.
Бежит волна теплыни человечьей —
и пенится рассыпчатый поток
и мчится по садам, косматится и пышен,
захлестывая ветки груш и вишен.

13

Он — не колдун, Самцов... Не чародей.
В нем лишь дрожат того огня отсветы,
что делает и маленьких людей
великими. Тот луч найдешь в себе ты,

им зажжены на родине моей
учительницы, пахари, поэты, —
и о лице, что им освещено,
мы говорим: — Как хорошо оно!

14

Он — человек, навеки одержимый
мечтой соткать земле такой наряд,
какой дарят лишь девушке любимой,
впридачу к сердцу трепетно дарят.
Украсить край, метелями гонимый,
тот край, где льды так холодно горят
Согреть его, как греют руки милой
в промозглый вечер осени унылой.

15

Нет, не напрасен этот страстный жар
упорных человеческих стремлений —
согреть земли обледенелый шар,
зажечь его для золотых цветений!
И что еще прекрасней в нас, чем дар
лучиться силой творческой весенней
и оживлять бесплодные пески
и раскрывать на ветках лепестки?

16

Отдать весь пыл, всю кровь, какая в теле,
ветвясь, бежит по тысяче ходов,
за жизнь в цвету, за пьяные метели
косматых бело-розовых садов,
за то, чтоб люди счастьем богатели,
земля — румяной радостью плодов, —
о, только так и стоит жить на этой
планете, мглой и холодом одетой!

17

Как мельница, пылит и вьет кура,
пылит снежком на кровли и ворота.
Глухое время. Поздняя пора.
Хозяйкой ходит по домам дремота.
Но в домике Самцова до утра

лежит на окнах света позолота
и через стекла, убранные льдом,
глухая ночь заглядывает в дом.

18

Сквозь верх окна, где не сверкает иней,
не блещет лед, — ей комната видна.
Затенена бумагой темно-синей
висячая стеклянная луна.
Над сетью тонко вычерченных линий
склонился человек. Еще темна
опущенная голова Самцова.
Морщины резки. Складка губ сурова.

19

Подняв глаза от пестрого листа,
он смотрит вдаль туманным долгим взглядом.
Ему так живо видятся места,
где он когда-то проходил с отрядом!
Их не узнать. Степная нагота
зазолотилась крымским виноградом,
и хлопок о-бок с дикою травой
растет и созревает здесь впервой.

20

Конец господству тощего бесплодья!
Оно погибнет в ту весну, когда
придет завоевать его угодья —
безводные пустыни, царство льда —
машина золотого плодородья,
созданье вдохновенного труда.
Конец на ниве — сору и полыни,
конец — печальной наготе пустыни.

21

Вот широко расплеснут на столе
чертеж готовый, дум ночных внушенье,
подарок миру, людям, всей земле,
усилий бескорыстных завершенье.
Да, жизнь пройдет, потонет в синей мгле,
забудутся обиды и лишенья,
но ты, дитя любовного труда,
останешься на многие года.

22

Ступай же в мир, созданье мысли смелой,
ступай в поля, где конь стальной прошел, —
стаканчики с рассадой скороспелой
высаживать на влажный вешний дол.
Иди и обнови и переделай
те страны, где стихии произвол
неуправляемая мыслью сила
законом для земли провозгласила.

23

Пылит и вьет за окнами кура,
мерцают стекол ледяные слитки.
Высокая пуховая гора
шеколду придавила у калитки.
Тьма на утрате. Спать давно пора.
Увязывает ночь свои пожитки.
Час голубого утра недалек.
А Федор Аникеич все не лег.

24

Скребет стекло когтями снежный ветер.
Льет синий свет висячая луна.
Ночное время! Ровно дышат дети,
окутанные жарким пухом сна...
Как бледны лица в затененном свете!
И Паша спит, умаялась она.
Струятся по подушке в беспорядке
недлинных кос дымящиеся прядки.

25

Дымящаяся вьюгой седина,
когда ты в косы темные прокралась?
(Предутрие. Прохлада. Тишина.
Свинцом отяжелила мозг усталость.)
Ужель, как труд, и жизнь завершена?
Ужель в лицо заглядывает старость —
изжитых дней безвременный закат —
и тени ночи птицами летят?

26

Но где она, ночная тень? Светает.
Метель утихла. Около ворот
синеет ворох снега. Сумрак тает.
Победно утро по земле идет.
Как гостя, человек его встречает.
Всему своя пора. И счастлив тот,
чья маленькая жизнь дотла сгорела
на праздничном костре большого дела.

27

Тот жил не даром, от чьего тепла
кругом теплее стало хоть на градус,
земля хотя на волос отошла
и вешней веткой распустилась радость.
Плодами падают его дела.
Они в себе несут ему награду.
И всех богаче в этом мире тот,
кто сердце смело жизни отдает.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Как удержать себя от раздраженья?
Бумажных дебрей пыльная листва.
Окурок в блюдце. Взгляд без выраженья.
Ленивый голос, тусклые слова:
— Так... чертежи... Покуда — без движенья.
Зайдите через месяц... через два... —
Есть что-то барахолинское в глади
мясистых щек. И в голосе. Во взгляде.

2

Учтивая внимательность врага.
Ледок в глазах. Словесные колючки.
— Не «га», а «гектар». Что за слово: «га»? —
брюзгливый бас внушает самоучке.
— А ваш проект... (Самцов взглянул: ага!)
идея есть, но...
Вязки слов тянучки,
владелец баса — лыс, и сух, а все ж
он тоже чем-то на Кузьму похож.

3

Кузьма Степаныч, разные личины
ты принял в жизни, друг любезный, но
от молодости резвой до кончины
твое нутро всегда, везде — одно.
Менять его не видишь ты причины
и худ ли ты иль грузен, как бревно, —
что для тебя искатели, поэты?
Зато к себе внимателен вдвойне ты.

4

Шагал домой. От сжатых кулаков
топырились карманы: — Будем драться!
Нет, самоучка скромный не таков,
чтобы без боя неудачам сдаться.
Смешно тому бояться синяков,
кто помнит, как шмели войны роятся!..
Похрустывал, скрипел под сапогом
февральский снег и дым лился кругом.

5

Вот он и дома. Стерта пыль с гитары.
«Ве-чер-ний звон»... а все нейдут с ума
словечко «га» с поправкою «гектары»
и в сотне разных обликов Кузьма.
Над книжкой никнут плечики Тамары.
Учить урок мешает ей дрема.
А Паше нездоровится: — Иголку
держать в руках и то не стало толку!.

6

— Скорей бы май. И чтоб сирень цвела,
чтоб вишня платье белое надела!.. —
Она ресницы тихо подняла
и на окно с улыбкой поглядела.
Давно ей, бедной, хочется тепла,
давно седая стужа надоела,
а ночи все синей и без ума
лютует постаревшая зима.

7

Летят-летят визгливые метели
на очередь, на галочий галдеж...

Окурок в блюдце. Пепел в пухлом «деле».
— Рассмотрен ли, скажите, мой чертеж?..
— Чертеж? Зайдите через две недели...
Нет, сдерживаться больше невтерпеж.
— Вы — бюрократы!.. (Каждая кровинка
кипела в нем.) — О, чортова волынка!..

8

Подваливает сахару зима
и в искры, в пыль его на солнце колет.
На проводах широких, как тесьма,
на ветках сада холод иней холит.
В морозный вечер за окном горьма-
горит сугроб, луной, как спиртом, полит.
Всю ночь сине пылает лунный спирт,
а мир уснул... Один мороз не спит.

9

Тогда в душе так много дум теснится.
Плывет печаль... О чем она? О ком?
Белеет иней на ветвях — и снится,
что это вишня льется молоком.
Трепещут чьи-то длинные ресницы —
звезда мигает чистым огоньком.
Как пламя, жжет оцепенелый воздух.
До сердца галки промерзают в гнездах.

10

Но пошатнулось царство стуж и вьюг
и скоро кровля вьюк сугроба скинет.
Пришел Матвеев: — Поздравляю, друг!
Чертеж машины, понимаешь, принят!..
Все осветилось радостью вокруг:
цветы обоев, чай, что в блюдце стынет,
два молодых жасминовых куста
и даже Паши бледные уста.

11

Ей было хуже. Доктор ездил на дом.
Да что! Теперь дела пойдут на лад.
Весной она начнет ходить за садом, —
ведь ей бывать на воздухе велят.

Лечиться будет свежим виноградом —
не привозной, не мятый виноград.
И вот когда уйдет от их порога
нужды проклятой темная тревога!

12

Под вечер блеск ее огромных глаз
с отливом желтым был горяч и ярок.
Она бывала рада каждый раз,
как девочка, приходу прях-товарок.
— Что нового на фабрике у нас?
Большое вам спасибо за подарок!..
Развертывала серую халву:
— Ну, осенью вам яблочков нарву!

13

Прошел февраль. Не сразу, не без боя
сдались весне крутые холода.
Ветра гремели мартовской трубою
и в полдень с кровли капала вода.
Дымящееся нежно-голубое
в пять линий разграфили провода...
И наконец-то наступило время
доверить сотам парниковым семя.

14

...«Ждем... выезжайте... спешно»... Вязь письма
в глазах рябила. Улицей лиловой
бежал на поезд. На пути — Кузьма,
здоровый, плотный, будто сруб еловый.
— Ну, как делишки? Вижу: не весьма...
А я, брат, сыт: сейчас рачу в столовой...
Он нес домой с помоями бадью, —
выкармливал помоями свинью.

15

Но что сосед, свинья, ее обеды?
Москва. Большой научный институт.
Ужель и вправду миновали беды?
Поверишь в это, побывавши тут.
«Колумбовым яйцом» машиноведы
стаканчик пересадочный зовут.

Да, не пропали страстные усилья:
близка страна прекрасная обилья.

16

Сквозь дебри равнодушья, сквозь вражду,
как дровосек сквозь груды бурелома,
его труду, заветному труду
прокладывает путь рука наркома.
Чернеют ветки в липовом саду.
Гудит, как улей, зал большого дома.
Прозрачный вечер. В окна бьет закат.
— Ну, Федор Аникеич, ваш доклад!

17

— Товарищи! (Как будто через воду
он видит лица... Алый пук лучей...
Немало в зале собралось народу —
профессоров, садовников, ткачей.
Ему перед таким собраньем сроду
не приходилось говорить речей).
— Товарищи, моя машина — это
предвестница богатого расцвета.

18

— Она пройдет полями по весне
и проторит дорогу к урожаю...
Я рад отдать свой труд родной стране
и отдаю... и платы не желаю!.. —
Молчанье. Вечер. Зайчик на стене.
И вдруг... как будто кто-то поднял стаю
тяжелых белых голубей: вокруг —
немолчный, долгий плеск и трепет рук.

19

Недаром он под шум возни мышиной,
изобретатель, садовод, поэт,
дневных забот рой отогнав мушиный,
прекрасными виденьями согрет,
чертил, писал, работал над машиной,
машиной счастья... Тихо шел рассвет
с цветами на сучках березы пегой
и утреннего сна последней негой...

Вставала бабка, шелестной возней
наполнив дом. Скрипели половицы.
Кормила печь березой и сосной,
брала гремучий коробок с полицы.
Дрова трещали, плыл из печи зной,
вразлет махали крыльями жар-птицы.
И кошка льнула, хвост согнув в дугу,
к худому бабкиному сапогу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Дарит закат охапки роз обоям
над смятыми подушками больной.
Она лежит, палима смертным зноем,
и грудь ее колышется волной.
Ей снится сад... Тысячекрылым роем
он в этот час трепещет за стеной,
но не подняться больше ей с кровати,
не встать навстречу майской благодати.

2

А как она ждала весенних дней,
гадая, сколько май рассыплет цвета.
Как верилось зимой морозной ей,
что снег невзгод не дольше, чем до лета.
Но бледный лик — все тоньше, все бледней,
лишь на щеках — зловещая примета —
играли два малиновых пятна,
и вот последний день живет она.

3

Самцов присел на краешке постели.
Ребята сбились около отца.
Заря повяла. Сумерки густели.
— Тоска, тоска! И нету ей конца!..
Он стиснул пальцы так, что захрустели.
Уж не узнать горячего лица.
Дыханье хрипло. Веки плотно сжаты.
Да, где — борьба, там — жертвы и утраты.

4

— Родная, встань! Хорошая, взгляни,
как темной кровью розы налились.
Не в сердце ли твое впились они —
шипов своих иголками впились?
И чей румянец в солнечные дни
слетит на щеки звонкого аниса?
И чьей любви творящее тепло
цветные свечки на ветвях зажгло?..

5

Она не слышит. И глухой, подспудный
в душе Самцова зазвучал упрек:
— Не сад, — он сам сгубил ее. На трудный,
на скудный жребий он ее обрек.
Берег росток и листик изумрудный,
а человека, друга не сберег!.. —
Все громче голос совести — и нету
ни довода в ответ на правду эту.

6

И бабка красных не сводила глаз
со впалых щек, с худой руки дочерней,
хоть ждал ее с посудой грязной таз
и плошки закоптелые дочерни.
Часы, хрипя, пробили девять раз.
Ткачихи шли на зов гудка вечерний.
Так пчелы в теплой мгле вечеровой
летят с цветов в гудящий улей свой.

7

Шаги затихли. Не шумели дети
в весенних зыбких сумерках. Увы,
не приголубят рук увядших плети
ни той, ни этой черной головы.
Бутылочки на белом табурете,
зачем ее не вылечили вы?
Зажегся свет, просыпав золотинки
на блюдо с кашей. Грустен, как поминки,

8

был ужин в этот вечер. Тут пришел
сосед Кузьма Степаныч Барахолин.

Кузьма сегодня сумрачен и зол,
Кузьма сегодня — жизнью недоволен.
Работал он в столовой, словно вол,
и вдруг — уволен. Почему уволен?
— Помоев, слышь, нельзя носить домой!
За что же мы боролись? Боже мой!..

9

Он был сейчас особенно ненужен
и чужд под этой кровлею всему,
а знай сидел. Давно убрали ужин.
— Как хочется остаться одному! —
Как Федор Аникеич безоружен
перед тоской! Как тяжело ему!
Он поднялся и вышел в сумрак сада.
Стеклянная звенела в нем прохлада.

10

Как драгоценный чистый самоцвет,
светился неба край зеленоватый.
И не понять: белеет майский цвет
иль это снег повис на ветках ватой?
Ох, грянет к утру заморозок! Бед
немало он наделает, проклятый,
хрустящим мелом инея беля
железо кровель, гряды и поля.

11

Погибнет сад — живой зародыш, клетка
страны садов, лелеемой в груди.
Оледенеет молодая ветка
и не пробудят жизни в ней дожди.
Заиндевеет лиственная сетка
и опадет. Ну, что же, смерть, иди
и в эту ночь прозрачно-ледяную
двойную жатву собери... двойную!

12

Губи скорей — тебе ведь не впервой! —
всех бабочек, что на сучки слетели.
А он пойдет в печальный угол свой,

тихонько сядет около постели
с опущенной в ладони головой,
с усталостью в отяжелевшем теле —
и на былинках спутанных волос
к рассвету тоже заблестит мороз.

13

Искатель бедный золотого клада,
зарывший жизнь в горбатую гряду,
чудак упорный, вот она, награда
за дни тревог, за горькую страду.
Хотел добиться слив и винограда
от полосы, плодящей лебеду.
Как плоть, берег в стаканчиках рассаду...
— Нет, отстою!.. Не дам погибнуть саду!

14

Стлал заморозок белые ковры
и прибивал гвоздями напоследки.
Но человек зажег в саду костры —
и плотный дым одел стволы и ветки.
Он застревал во впадинах коры,
он обволок все гряды сада, едкий,
но теплый, стойкий. Колыхался мрак,
за ним свирепый притаился враг.

15

И там и сям шагал он без помехи,
дыша все гуще, резче и свежей.
Он заставлял в овчинные доспехи
ночных закутываться сторожей.
То лапой комкал листья для потехи,
то в гнездах замораживал стрижей.
Заглядывал к Самцову и со злобой
отшатывался: — Не войдешь, не пробуй!

16

Тут каждый венчик продолжал цвести.
Тут все согрел огонь любви и страсти.
Лишь человеческую жизнь спасти
его мерцанье не имело власти.

Быть может, завтра мысль найдет пути
к бессмертию. Но в эту ночь несчастий...
(зарей зеленой леденела ночь)
из дома с плачем выбежала дочь.

17

— Тебя все нет, а мамы (хрупкий голос
переломился)... мамы тоже нет!.
Изнемогая, лампочка боролась
с лучами утра. Шел седой рассвет.
О, срезанный серпом жестоким колос!
О, сорванный с душистой ветки цвет!
Уж грудь не поднимала покрывала.
Лицо бледнело, меркло, остывало.

18

Не шевелилась кисть худой руки,
из голубого слепленная воска.
Ей не поить лимонные ростки,
не пестовать вишневого подростка.
Вздыхала бабка. На коре щеки
светилась мутно бисерная слезка.
Сидел Самцов у шаткого стола
и повторял беззвучно: — Умерла!..

19

— Ты не хотела уходить от мая,
от веточки сирени на столе.
И вот лежишь холодная, немая,
на пожелтевшем смятом миткале.
Ты крепким сном покоишься, не зная,
что в это утро на седой земле
перед твоими белыми цветами
склонилось смерти траурное знамя!..

20

День поднял знамя света и тепла,
скворцы во всю орали с палисада.
Сирень лила свой аромат. Жила
в посадочных стаканчиках рассада.
В руках дрожащих бабка в дом несла
весну и радость... нет, цветы из сада...

Как жизни весть, как лучший дар земли
на миткале их венчики легли.

21

У впалых щек, у губ испепеленных,
у сложенных на вечный отдых рук
взметен сугроб цветов, усыновленных
угрюмым краем белокосых вьюг.
Сонм лепестков, нездешних, полуденных
слетел сюда, как мотыльки на луг.
Они живут! Им цвесть в полях бесплодных,
у ветхих прясел, у трясин болотных.

22

У сучковатых темных изгород
им суждено, как молоком, налиться.
Там виноград березку обоймет
и яблоки пойдут румянцем крыться.
И в сердце радость упадет, как плод,
и теплым светом сердце озарится,
когда садами станут изстари
заросшие полынью пустыри.

ЭПИЛОГ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЛОГА)

1

... Сугробом пахнет от арбуза. Густо
его нутро пурпурное горит.
— Ивановский, а как созрел... до хруста!
Чего любовь на свете не творит!..
Синеет небо холодно и пусто.
Самцов гостям своих семян дарит
и раздает садовые отводки:
— Несите их в поселки и слободки!

2

Глядит из сада осень. Студена,
седа земля в те кованые ночи,
когда зеленоватая луна

ее сияньем призрачным морочит.
Теперь в лесу такая тишина,
что ты идешь — и шаг почти грохочет,
а легкий вздох упавшего листка
вся роща слышит. Да, зима близка.

3

И скоро тын осядет в пух сугроба
кудлатый дым повалит из печей.
Бездомных птиц неистовством озноба
прохватит стужа месячных ночей.
Под звонкой крышкой ледяного гроба
уснет, притихнет хлопотун-ручей
и затаится жизнь в корнях растений,
в стволах деревьев до поры весенней

4

Но не замерзнет закаленный сад
Его тугая юность выслива.
Здоровых, крупных вырастят ребят
мать-яблоня и северная слива.
Коричневые зерна засквозят
за янтарем обильного налива,
чтобы взойти в холодной стороне
на пустыре плешивом, на гумне

5

Осенний сад оранжев и ажурен.
Цветник зари над городом пунцов.
Он трубами высокими окурен.
На сад зари, на дым глядит Самцов.
Он отдыхает, — маленький Мичурин
один из тех бесчисленных творцов,
чьи руки там и здесь в моей отчизне
выращивают сад цветущей жизни.

6

Да, и его с другими наравне
волна, весь мир качавшая, носила.
Он — свой для тех, в ком, как огонь в кремне,
жива вовеки творческая сила.
Все, что ни есть прекрасного в стране,

их труд воздвиг, их воля сотворила.
Хозяева полей, заводов, рек,
они — один могучий Человек.

7

Проходят годы. Люди умирают,
а Человек бессмертен. В синих льдах,
в песках пустынь он смело пролагает
свои пути — и на его следах
лепечут нивы, розы расцветают,
сады в румяных клонятся плодах,
и яблоком среди туманов млечных
летит земля в Саду созвездий вечных.

АЛЕКСАНДР АЛЕШИН

СТО СИЛ

РАССКАЗ

На большой станции соседнее с Тимкевичами купе кто-то занял. Они слышали, как вошедший густо, удовлетворенно пробасил:

— Вот и на месте!..

Был утренний час, когда в вагонах опускаются верхние полки.

— Мне необходимо подняться, — сказала жена. — Поддержи меня... Сегодня мне хуже, потому что меняется погода: небо синеет.

Тимкевич бережно занес и опустил ее ноги в поярковых, серомучнистых валенках. Она сидела строгая и спокойная. Приятное, правильного рисунка лицо — омертвело. Но купе их пахло духами и было согрето уютом, какой вносят в пустой вагон семейные люди с чистыми постелями, чемоданами в чехлах.

— Елена, может, ты чаю выпьешь? — спросил Тимкевич мягко, как любящий муж.

Елена от чая отказалась.

— Я с удовольствием бы яблоко съела.

Яблок в запасе не было, и Тимкевич собрался в буфет, но задержался, прислушиваясь к голосу проводника: — Вагон некурящий! — возвещал проводник. — А почему разлегся безо время? Сказано: верхние полки спустить... Хочешь лежать — купи плацкарту!

Густой бас ответил сдержанно:

— Полегче. Не зычь. Не на сплавщиков... Не велик чин — зыкать. Я таким чинам вторым свистком до кишков достаю.

— Какой разговор! — передернул Тимкевич плечами.

Елена безучастно откинулась на подушку. Голоса смолкли. Вслед за тем купе Тимкевичей заслонила мощная, бородатая фигура и без разрешения шагнула к ним.

— Простите, сюда нельзя, — сказал Тимкевич: — здесь — больная.

— Слышал, — участливо прогудел бородач. Он вынул из кармана своего пиджака крупную золотистую антоновку и сказал Тимкевичу: — Не ходите, у меня яблоки есть... Пожалуйста!

— Благодарю вас, — холодно отказалась Елена.

Но бородач был непреклонен. Он протянул яблоко таким сердечным доброжелательным жестом, что у ней нехватило сил отказаться вторично.

— Чего благодарить напрасно, — заговорил наставительно бородач, — благодарят, когда съедят. А у меня яблоки нынче почти даровые, я их на своем пароходе с низу пять ящиков привез — самолучших, изо всех садов!.. Оботрите платочком и кушайте на здоровье. Вам надо кушать, я — вижу... Через силу, через неволю, а ешьте. Пища — самая первая лекарства.

Тимкевичи переглянулись, как бы спрашивая: кто он?

Бородач свободно, осадисто уместился против Елены.

— Не тужите, в Солях поправят, — сказал он ей уверенно. — Нынче это живо. Нынче медицинская часть до того навострилась, что даже самое пущее оживляют. Без ног тоже беда, как без головы. Ноги всему делу подпора.

— Откуда вам известно, что мы едем в Соли? — спросил Тимкевич, опуская за плечи пальто.

— Э, «откуда». Батюшка мой, мне без году шестьдесят, пора и знать, на чем свет держится. Да уж позвольте назваться: Живетин, командир парохода, — улыбаясь, раскланялся бородач. — А вы, извиняюсь, по какой отрасли будете?

— Я — ученый почвовед, — ответил Тимкевич, втайне гордясь превосходством своей профессии. — Лекции читаю, книги пишу по своей специальности, — прибавил он.

— Очень приятно! Рад встрече! — просиял Живетин, расправляя окуренные усы. — Наука — великое дело. Наука да сила всю жизнь вертят. Об этом я говорить люблю, да только партнеров чередных не встречаю. Разве когда с дочкой соймемся, она у меня вроде вас, на докторшу учится в Москве, — одобряю!

Голосу Живетина в купе было тесно, он рокотал как барабан. Из его розового, сладко слипающегося рта слова выкатывались неторопливыми равномерными шарами, и остановить их движение, казалось, невозможно.

За разговором он причесал редкие, будто улетающие волосы и рыже-седую бороду, оправил на шее маленький шарфик. Его карие глаза были странно молодые, играющие, цепкие. От бровей к горбинке носа спускалась властная морщина. В литых щеках — все жилки сосчитаешь: розовела, билась кровь, готовая просечь кожу. От него стало еще теплей в вагоне.

Через десять минут Тимкевичи знали, что Живетин — герой труда, что подчиненный ему буксир «Стремительный» — в сто сил, но если передвинуть в нем золотники, то набежит их и еще двадцать; что затон оставлял его на зимовку за половинное жалованье, но он, со своим характером, проживет там целое жалованье, — и лучше ему ехать в деревню, женить сына, исхлопотать себе Орден Красного знамени, а весной явиться в затон — нараспашку! — и открыть навигацию радостными, прочищенными ремонтом свистками...

— Цекавод говорит: «А не пора ли тебе, Живетин, на спокой? Дадим мы тебе, как герою, высшую пенсию»... Ха-ха!.. Да вы что, говорю, шутите или смеетесь над Живетиным, ляд вас возьми и с пенсией! Не-ет... Рано девушку спать укладывать, она гулять хочет. Я тридцать вод отплавал и еще с эстолько отплаваю. Пока силы есть — поезжу, потру Волге хребет!

Искренняя речь его не казалась Тимкевичам хвастней. Он говорил потому, что изнемогал от силы, кипевшей в нем, как сухопар в золотниках «Стремительного», и молчать, быть другим он не мог. И когда он на минуту отлучился за вещами, Елена сказала:

— Интересный старик.

— Оригинальнейший! — ответил Тимкевич, обрадованный неожиданной оживленностью жены.

Живетин притащил пальто и шапку, раскрыл пасть своего кожаного саквояжа и весь столик уклал яблоками под восклицания Елены: «Куда вы столько, бог с вами! Я это количество и в месяц не съем».

А он говорил о другом:

— По годам — я около старости, а страшное чувствую в себе здоровье. А оттого, что вся родовая наша — на воде, на воздухе. Мы живем в самую препорцию, — едим, когда протрясемся, спим, когда сморимся на вахте, вот и весь секрет!.. Дедушка мой в бурлаках ходил. Правду сказать, дыханье ему препятствовало от лямки, злоба к жизни в нем копилась... Отец покойный, тот был посмирней, водоливом ходил на баржах. И опять же баржи были чужие, следственно в мыслях у него это имелось...

— А у вас имеется? — спросил Тимкевич.

— Во мне?.. Нет. Я вполне успокоен. Я надо всей Волгой воцарен, все беды испроверг и победил машиной. Меня вон куда возмахнуло: в командиры!.. Мне и легким предлагали командовать, да я отказался: сил не вижу я в легких пароходах, а так... по-моему, вроде баловство, гулянка, ляд с ними.

Махнул рукой, огладил бороду и опять заговорил:

— Какое у меня тело, нате-ка — поглядите — сыромятное!

Задрал рукав пиджака и обшлаг рубашки «фантазия», пахнувшей стиркой, и показал Тимкевичам волосатую кисть руки. Тимкевич через пенснэ рассматривал ее как музейный экспонат, прихватив кожу прозрачными холодными пальцами. И по-лабораторному серьезно, определяюще сказал:

— Замечательная ткань. Ты посмотри, — предложил жене, и она смотрела, щупала вырывающуюся из пальцев мякоть руки и тоже нашла ее замечательной.

— Вот и дочка моя того же мнения, — прикрыл Живетин своим козырем. — А отчего? Оттого, что кровь во мне чистая... Бедовая! Я по этому случаю даже вина остерегаюсь, да она, признаться, его и не принимает особо. Никакого вещества не принимает, акромя табаку... Я молодым еще задумал выколоть на руке наш знак: топор-якорь, и не мог... Иголки входят в руку, как в резину, даже хрустит, а краска вся обратно. Поверишь, кипит на руке!..

Для убедительности Живетин прихлопнул Тимкевича по плечу.

— Так вот вы и считайте: от дедушки у меня сила, от отца сила, да своих две... Да еще прошедший год произвел себе обмоложенье, на отдыхе был, — так теперь этих сил во мне не меньше моего парохода, ей-богу!.. Да я вам сейчас покажу!..

Елена удивленно взглянула на мужа, и на лице ее вспыхнул румянец смущения. Живетин достал туго набитый бумажник. Но прежде, чем показать медицинское свидетельство, взглянул на свое командирское удостоверение с карточкой. Вид его на карточке был косоносый, вытянутый, — будто в момент съемки его ткнули в спину.

— Обратите внимание: герой-капитан!.. Ус-от, а весь-от вид? Не зря моя старуха опасается. Нынче приезжает на пароход и говорит: «Отец, у тебя дочь — невеста, сын — жених, уж ты, пожалуйста, не загуляй на низах...» Ха-ха!..

Елена тоже оживленно улыбалась, забыв глухую, глубоко ноющую в ногах боль. И когда завязался мужской разговор о грузах, баржах, вахтах — в ней отродилась девичья мечта о простой, привольной жизни: о солнце вволю, о чистых тугих ветрах и о чудесных путях, как хочется того в юности. Обветренный буксирщик Живетин, у которого все — глаза, плечи, голос — имело деловое назначение, волновал ее сочетанием старика-отца и силача-мужчины — и время, которым она, как все больные, недавно тяготилась, теперь шло легко, незаметно.

«Настоящий человек!» — решила она и, украдкой, по-женски, сличила Живетина с мужем, протиравшим пенснэ. Лицо Тимкевича с усиками-шильцами казалось правильным, но беспомощным. Елена впервые заметила эту беспомощность, и чтобы подавить в себе смутную, пугающую досаду, она отвернулась к окну, в котором экранно скользил стремительный зимний пейзаж...

Близился приволжский городок, станция, где нужно было сходить Живетину, а Тимкевич попрежнему не успевал за собеседником, — говорил один Живетин.

— Сила хороша с умом, а без ума она, как нищему сума. И сам надорвешься, и делу навредишь. А особливо, когда на виду людей... Люди — страшные любители силы, и который командир задорный, может через это даже пароход испортить. Нынче так-то было под Яронью... С весны засел там пассажирский пароход, самой середкой засел, а вода сбывает — и ломает его пополам... Пять буксиров к нему прикладывались стаскивать и все напрасно: снасти изорвут, кнехи выворотят, машину надсадят, а отчего?.. Да народ глядит с бульвару, а командиры и ломят на выхвалку!.. Народ, брат, не натешишь. Он поглядел, да и пошел чай пить, а у тебя машина свистит, золотники-то раздуло!.. А нонче, знаете, на золотник набедишь, а на пуд ответишь. Начнутся дознанья да следствия. А я так подошел к этому делу: взял пассажира на самый короткий буксир и не по течению, а встречу, и скомандовал: средний! Работаю час, другой... вахту работаю, су-утки работаю!.. Команда, слышу, ворчит и глядельщиков на бульваре—ни щегла... Уж команда моя из терпенья вышла, а я свое: «Быть всем при месте, коли жалованье идет. Я ответен!» А на другие сутки пассажир с мели как с мылом слез... Так опосле команда мне часы поднесла на память, а те командиры прямо с ума сошли: «Живетин, опоим тебя, только скажи секрет?!» Ха-ха... Скажи... Нет, брат. Ты сам дойди — раз капитан! Дураки паром не ходят.

— Это интересно, — ожил Тимкевич.

— Замечательно! — подхватила Елена, блестя глазами, и с детским любопытством попросила: — Скажите нам, честное слово, мы вас не выдадим!

— Однако, серьезно, в чем тут секрет? — поддержал просьбу Тимкевич.

Живетин раскраснелся, но Тимкевичи смотрели ему в глаза, как голодные, — и он сдался. Он наклонился к ним близко и прошептал:

— Секрет в песке... Продрал я его маленько колесами, а остатки силой взяло... Я на это упорный, меня, брат, с фарватера не сшибешь!.. Я этто прикатил в Москву искать товарища Лабуту, поручителя себе на орден...

— За это дело? — спросила Елена.

— Нет, милая. За это на Волге даже спасибо не скажут. За такие дела награждать — чугунных медалей нехватит, — за военное! Другой разговор... Захожу в Цекавод спросить, а там смеются: в Москве, говорят, сто тысяч Лабутов. А мне хоть миллион, так ляд с ними. Я ищу своего Лабуту, с которым мы под смертью были... И нашел! Захожу к нему на дом, а он меня и не узнает: «С корпуса будто знакомый, а с лица не припомню». А? Года-то? Время-то? Батюшки!.. Живетин я, командир парохода «Четвертый». Да как помянул еще Самару и готово: расцеловались... «Рад тебя видеть». Я думаю!.. И вот что значит настоящий коммунист: и усадил, и чаем напоил, и поручился — слов не молвил. Пожалуйста!..

Живетин извлек из бумажника очередной документ, и когда Тимкевич небрежно за ним потянулся — он отказал ему:

— В руки не дам!.. Ни под каким видом!.. Копию с него приложил, а это запру и ключ закину — вот до чего дорожу!.. Читайте из рук, сам-то я по-письменному не больно... буквы из глаз убегают...

Прямой, торжественный, он держал записку вытянутыми руками, а Тимкевичи — голова в голову — читали:

«... Пароход „Четвертый“ под командой т. Живетина увел принадлежащую белым баржу с огнеприпасами, на протяжении четырех верст продвигаясь под обстрелом... Свидетельствую: член ВКП(б) М. Лабута. Партбилет №...»

— Слушайте, — сказал Тимкевич, вытягивая лицо: — Это один из крупных людей Союза.

— Совершенно правильно, — согласился Живетин, пряча записку. — А до того крупен, что я таких и не привидывал. Я сам не обносок, не аршин с шапкой, ну этот на голову выше меня!

Тимкевич искренне улыбнулся. Он забыл свою профессиональную гордость и узкий круг людей, его знающий и ценящий, — поддался обаянию простой силы Живетина. Но он не хотел быть побежденным этой силой...

— Скажите, почему вы решили увести баржу у... добровольческой армии? Вы, мне кажется, не походите на человека м-м... известной идеи, и мне интересно: приказ вас к тому понудил, или ваше личное желание?

Живетин охолодел глазами и долго молчал, чуть шевеля пальцами, слабо сцепленными на животе.

— Скажу... по правде скажу: то и другое. — Раздернул пальцы и мотнулся к Тимкевичу:

— Видите, насколько я вам доказывал, я стою за жизнь и люблю, чтобы она кипела, как вода под колесами... Верно, момент был надвое, могло обернуться и так и этак... И вот, батюшка мой, вся задача была доглядеть, которая сила сильней. Ведь ежели во мне сейчас силы, так в командире дивизии Лабуте их и тогда было

сто!.. Ведь это такой человек: «Живетин, крой, я тебе верю!» А мне что и дорого. Вера горы двигает, вы ученый и не мне вам это объяснять. А к тому же я раздумал: двадцать лет плаваю по Волге и что вижу — хлеб, соль, ну еще... ободья для колес. Эх! хоть раз испробую смерть забуксирить. И забуксирил... Кричу машинисту: «Самый полный! Перевести золотники на сто пятьдесят!» А он мне хрипит оттудова: «Не могу... Переведены...»

— Хоть полсилы выжми еще, пока до заворота, пока не скроемся... Погибнем ведь, перещелкают! Пусть, говорит, погибнем, а машину надсажать не стану. Таким и шли, больше на матюках, ей-богу... А как колено завернули и стрельба запала: скрылись из виду неприятеля...

Помолчали. Но допрос еще не кончился. Тимкевич заострил глаза и, пощипывая усики, спросил особо четко:

— Скажите, а если бы вы служили той стороне и вам поручили бы угнать баржу — исполнили бы вы это поручение?

— Не скажу... Не люблю я, простите, не знаю ваше имя-отчество?..

— Сергей Георгиевич.

— Не люблю я, Сергей Георгиевич, эти разговоры: бы да кабы, пошли по грибы... Не мущинские эти разговоры, вот что-с! Чего гадать, раз война?.. Не зарекусь, может, и угнал бы. Как знать?.. Может две баржи угнал бы!.. А верней, что явился бы к красным и сказал: вот вам пароход, занесите его на свой реестр, что и было!.. Тут, батюшка мой, дело тонкое, думать надо. А главное — понять и захотеть. Раз человек захотел, так он все произойдет и все переборет. Например, скажем, вот она, — указал на Елену, — хозяюшка ваша, я вижу, не привстает. А захоти она, пожелай и пройдет по вагону любо-дорого! Верно слово! Давайте-ка на пробу!..

Живетин стремительно встал, взял Елену за руки, и у ней лишь от мысли о ходьбе, от прикосновения его крупных горячих пальцев закружилась голова.

— Ну-ка, пошли... Вставай, подымайся, рабочий народ... — нежно заговорил Живетин.

Все это было так стремительно, что Тимкевич не успел запротестовать.. В следующее мгновение, вскрикнув от острой боли, Елена почувствовала, что ноги ее гнутся, как резиновые, но требуют движения; увидела, что чемодан на полке разорвался и красными — от кантиков — кусками поплыл в окно...

— Вот так! Молодцом! — рокотал Живетин и вдруг оторвал свои руки от Елены, предоставив ее самой себе. — Смелей, смелей!.. Дыб-дыб!.. Во, вот и пошла!..

И Елена шла, как в детстве, колыхаясь, робко переставляя валенки с пятки на носок... Опомнилась, рывком ухватилась за плечи мужа и с увлажненными радостью глазами выкрикнула, задохнувшись:

— Сережа, я хожу!.. Какое счастье!

— Я не ошибусь! — ликовал и Живетин, утирая с лица обильную, разом выступившую испарину. — Я вижу-у!

Тимкевич растроганно усадил жену на место и от волнения не

находил слов. А Живетин, словно забыв обо всем, вытащил портсигар и спички и пригласил Тимкевича:

— Пойдемте, ежели занимаетесь? А то явится проводник, оштрафует.

Но покурить им не удалось: легкий на слове проводник явился и жестко сказал:

— Кто до Нерпина, сдавайте билеты!

Живетин отдал билет и стал одеваться.

— Выходите? — спросила Елена.

— Выхожу. И не особо охота, да чего поделаешь. У всякого своя станция... Благодарю за компанию.

— Спасибо! — сказал Тимкевич, поднимаясь. — Вы оживили Елену Андреевну!

Живетин махнул рукой.

— Какой я оживитель. — Вздохнул. — Годков бы тридцать назад — да! А теперь рази что языком поболтаешь. Уж не судите... А в Солях вас поправят беспременно, да еще как! Еще, бог даст, у сына на свадьбе плясать будете!

— У меня нет детей, — сказала Елена, не спеша разорвать рукопожатье, последний приток теплоты.

Живетин наклонился к ней, свойски шепнул:

— Принесешь! — и тряхнул ее руку последний раз.

Поезд встал, свистяще вздохнув, и к нему метнулись свежие люди.

Елена откинулась на подушку и слабо прикрыла глаза, чтобы не видеть пустоты, образовавшейся с уходом Живетина. Вдруг она быстро поднялась и до крайности изогнулась к окну, силясь увидеть вокзал... Но все люди, каких видела она на холодном перроне, выглядели мелкими и скучными в суете.

— Я устала, — сказала она мужу, отводя от окна напряженные глаза. — Помоги мне занести ноги, только, пожалуйста, осторожней!..

А. БЛАГОВ

СТИХИ

СТАХАНОВЦАМ

Январский вечер
темно-голубой
огни и звезды
поднял над собой,
над говорливым городом.
Огнями
дома перекликаются с домами.
Дорогой светлой
весело итти.
Мильоном искр
ложатся на пути
серебряные, синие снежинки.
Сплошной зарей
горят цеха «Дзержинки»
и фонари
на полотне двора
огромные качают веера.

Она растет —
волна знакомой речи,
она плывет,
она летит навстречу.
И вот: я обнят
с четырех сторон
ритмичным гулом
тысяч веретен!

Отряды ровниц —
в боевом порядке.
Добротной нитью
хвалятся початки,
что были глыбой
хлопковой вчера.
Их буйным вихрем
крутят ватера.
Валы бегут
со скоростью высокой,
сметая
нормы старые и сроки.

Вам — песня эта
и любовь моя,
стахановцев
согласная семья.
Вы смело вышли
в путь соревнованья.
Быть впереди —
прекрасное желанье,
взять от машины
все, что можно взять,
среди отличных
самым лучшим стать.

Мне ваши чувства —
высшая награда.
Вы жизнь свою
построите как надо.
И будет радость
все полней, полней,
все крепче воля,
потому что в ней,
как наше время
молодо и ново,
горит живое
Сталинское слово.

Я в этот вечер
долго не засну.
Он приведет
подругу-тишину,
а с ней — работу
близкую, родную.
И допою я
песнь мою простую:
о лучших людях
в нашей стороне,
о незакатном солнце,
о весне.

ВРЕМЯ

ТКАЧИХЕ ДУСЕ ВИНОГРАДОВОЙ

1

В Писцове в далекие годы
работал я, ткач молодой,
и дружбу водил большую,
невольную дружбу с нуждой.

За днями нелепым следом
тащились такие же дни.
Безделью несли они солнце,
труду — непогоды одни.

Текли миткали рекою,
железная пела гроза.
Владелец фабрики ткацкой
меня не видал в глаза.

Зачем ему было спускаться
до наших ничтожных имен?
Не все ли равно, кто ограблен,
унижен, забыт, оскорблен.

Хранила расчетная книжка
угроз и взысканий поток.
На первой странице издевкой
бесплатный стоял кипяток.

Когда подытожит месяц
заботу и спешку труда —
в карман твой ложится десятка
и даже с рублем иногда.

А если желанья толкают
шагнуть до двенадцати — что ж?
Веди в ресторан подмастерья,
иного пути не найдешь.

И тут тебе, значит, — граница,
последние рубежи.
На «платтовской» паре-старушке
куда ты поскачешь, скажи?!

Десятка с рублем... двенадцать...
Квартира... одежда... харчи...
Великие вы экономы!
Премудрые люди, ткачи!

Пальто вам служило полвека,
одно — от дождя и пурги.
Иной не припомнит, в котором
году приобрел сапоги.

Знавал я соседа, отменный
был мастер по этим делам:
картошку он кушал без соли,
а спички колол пополам.

Да, видели время. Недаром
кривился проклятьями рот.
Стояла толпа безработных
у каждых фабричных ворот.

Молчали живые тени.
Пускались от холода в пляс.
Заплаты различных размеров
кричали: «любуйтесь на нас!»

Кричали заплаты и зависть
смотрела из них, и тоска,
когда собирались смены
по властному зову гудка.

Ровно в три загромыхают «платть»
за стенами корпусов.
Десять раз пройдут по циферблату
стрелки медленных часов.

Рвутся нити, то и дело никни
грудью жаркой к полотну.
Не засмейся, не присядь, не крикни
в громовую эту тишину.

Не забудь, что где-то из засады
смотрит табельщик, как вор.
От него не жди себе пощады —
штраф... и кончен разговор.

Он — начальство. Он нахмурит брови,
карандаш он вынет не спеша...
Звали вслух его Илья Петрович,
заглаза — продажная душа.

Не ссылайся на гнилую пряжу,
виноватых не ищи.
Всякий брак тебе на плечи ляжет —
штрафовать умеет браковщик.

Ходят стрелки, мечутся батаны.
Пухом одевается станок.
На полу в недопитом стакане
помутнел «бесплатный» кипяток.

Кто б тогда помыслил о столовой?
(И ребенок знал о кабаке...)
Не было еще такого слова
на рабочем языке.

Тяжела хозяйская водица.
От сухого хлебушка с водой
не могли мы в юности гордиться
ни красой, ни силой молодой.

Дни и годы — тесная дорога:
фабрика чужая да подвал...
... Пятый год над родиной убогой
алых зорь еще не зажигал.

2

Но время не медлит. Оно не скажет:
пора мне уйти на покой.
Оно не заснет на мгновение даже.
И вот уже мир перед нами другой.

И вот уже нет ни больших, ни малых
властителей.
Бурей сметен их след.
Земля расцвела в лучах небывалых,
земле — восемнадцать лет.

Пути и дела, что прямы и честны,
на нашей земле не забыты ничьи.
В мире овеяно славой чудесной
ваше имя,
герои ткачи.

Вы знатные люди.
И сердце поэта
опять и опять вдохновеньем согрето.
Но я бы хотел по иному запеть —
такую бы песню,

где мог я словами,
как ты,
Виноградова Дуся, станками,
искусно и смело владеть!

По цеху станки кварталами встали.
Две сотни «нортропов»
в твоих руках!
Ты видишь гонялки неверный размах,
ты чувствуешь в звуке здоровье детали.

Там нить оборвалась, замолк автомат,
но ты и тогда не изменишь маршрута:
размерен твой шаг,
на учете минута,
по тропам знакомым —
ни шагу назад!

Не бросит начальство угрозы холодной,
чужая в упор не нахмурится бровь.
Легка твоя поступь,
движенья свободны.
А сердцу, как песня,
как молодость, сродны
большие стремленья, большая любовь.

Росла ты в рабочей семье, в комсомоле.
Прошла ФЗУ. И сбылися мечты:
на это живое, железное поле
глядишь полновластной хозяйкою ты.

Умелые руки
спокойны в работе.
Наполнены дни урожаем полотен.
И край наш советский —
зажиточный дом —
тобою, как лучшей,
сегодня гордится.
По-дружески просто
из Красной столицы
ткачиху приветствует славный Нарком.

И там, где недавно
таилось неверье,
там шопот последний
смолкает вокруг.
К победам широко распахнуты двери,
и много ты знаешь друзей и подруг!

Идут они все с именами героев
учить и учиться, работать и строить
богатство страны
и счастье свое.
... А время веселую песню поет.

ВЕРА МЯЛОВА

1. МОЛОДОСТЬ

Минувшие годы на миг вернем,
чужой переступим порог.
... На Новой улице крепкий дом
и двор позади широк.
За плотным забором — густа сирень
и весел вишневый шум.
Цветами рассыпан июньский день
по черным узорам клумб.
Заливистый лай кудлатого пса,
гусиный, куриный крик, —
покуда не скроется за корпуса
румяного солнца лик.
А в свеже-прохладную рань утра,
на сочные берега
две «ярославки» несут со двора
крутые свои рога.
Хозяин —
что шаг, то поклон бы ему.
Потомство —
прожорливый рой,
хозяйка —
за каждую тряпку в дому
готова стоять горой.
Глазами залезет в любую щель,
острей не сыскать языка.
И все на учете: от жидких щей
до кислого молока.
Служанка проснется едва рассвет.
Служанка должна служить.
Служанке от роду тринадцать лет,
но голод научит жить.
Хозяйские дети — постылый хомут,
и куры, и гуси, и печь —
не думай, не жди — никуда не уйдут
от проданных этих плеч.
«Верунька, на клумбы воды не жалей!
Как ветер, лети на базар!

Эй, Верка, заснула?! Шагай веселей,
Ведерный неси самовар!..»
Гудят приказы на все лады,
торопят до поздних звезд.
Если б дневные измерять следы,
легли бы десятки верст!
Минуту промешкай, — гроза, беда:
мещанский нрав не простит.
Кто знает, грустит ли она когда...
Быть может во сне грустит?
А время бежит и бежит по земле:
с весною, с лихою пургой.
Работала Вера в одной кабале,
пока не нашла другой.

Стоглазое зданье. Потоки ремней.
Основ нетающий снег.
Колес перезвоны...
И столько друзей,
что хватит на целый век!
Из тесной лачуги пойдет за станок, —
в поселке не видно зги,
но здесь же протопают тысячи ног,
ее повторив шаги.
Сосед отзовется на редкий смех
и горе до дна поймет.
О хлебе забота одна у всех,
один за плечами гнет.
Сходились девчата, когда досуг
сменял суетливость дней,
Сараева Саша из тех подруг
и ближе была и родней.
Бродили за городом. Лес да трава —
свидетели долгих бесед.
Листовок запретных пели слова
о жизни, какой еще нет.
О жизни, какая родиться должна
в буре, в крови, в огне.
Она, эта жизнь, как воздух нужна
закованной в цепи стране.

2. ПЕСНЯ О ПЯТОМ ГОДЕ

Было время. Было дело, —
без винтовки шли вперед.
Мой товарищ поседелый,
ну-ка, вспомни пятый год!
Вспомни Талку, где зеленый
лес вершинами качал.

Где, как выстрел раскаленный,
голос Фрунзе прозвучал.
Разве мало было взято
у блистательных господ:
мы в совете депутатов
заседали в этот год!
Мы сказали без запинки
капиталу самому;
мы сказали, что поминки
будем праздновать ему.
Твой оплот, конечно, прочен:
тюрьмы, плети да штыки.
Но ведь против — класс рабочий
и вожди — большевики!
Было время. Было дело, —
без винтовки шли вперед.
Мой товарищ поседелый,
не забудем пятый год!
Как шагнула вражья злоба
за последнюю ступень,
как на Талку к нам особый
привели буржуи день.
Привели с дождем свинцовым
с ветром шашек и плетей.
И пошла за край сосновый
туча черная вестей.
Не пробила при расстреле
пуля грудь мою насквозь,
а носить рубцы на теле
от нагайки довелось.
Было время. Было дело, —
без винтовки шли вперед.
Мой товарищ поседелый,
будем помнить пятый год!
За несчитанные раны,
да за то еще вдвойне,
что дорогу из тумана
показал он всей стране;
что на смену утомленных,
в тюрьмы брошенных отцов,
воспитал он миллионы
стойких, ленинских бойцов.
В буйном зареве пожарищ,
в песнях, рвущихся вперед,
будем помнить, мой товарищ
трудный, славный пятый год!

3. ПОГРОМ

Осенний город орет, гремит.
(Тесна от «гостей» тюрьма.)
Несет мостовая толпу громил.
Бледнеют кварталы, хибарки, дома.
Над словом «товарищ»
повис запрет.
Пьяно качается
царский портрет.
Преграды не видно для дикой волны.
Медью сверкают лохматые рожи.
Квартиры евреев разгромлены.
Сломано все, до столовых ложек.
Флаги трехцветные бьются в глаза.
Хоругви соборные взмыты.
Городовые грузят на воза
раненых и убитых.
Трупы, измятые в красное тесто,
рваной одежды клочья.
И надо всем —
слова манифеста:
«Даруем свободы...» и прочая.
Торгаш за углом не прячет лица.
Кровь разжигает удача.
Угрозы, и подкуп, и ложь без конца, —
лишь только бы — жатва богаче!
В фабричных казармах
разносится вой:
«Громи депутатов!
Тащи их на свалку!
Мы за царев закон — головой,
а не за эту голодную «Талку»!
Нынче украсит народу житье
царская милость
да милость господня...»
Делает черное дело свое
черная сотня.
Глухо волнуется щаповский двор,
и на трибуне
ткачиха Вера.
Голос не дрогнет:
— Стыд и позор
тем, кто слову продажному верит!
Кто, потерявши совести след,
рвется умножить несчетные раны...
Или в рабочий первый совет
посланы мы из другого стана?
Слышите: празднует подлый сброд
праздник разбоя и смуты...

Только трус
на измену пойдет,
друга забудет в такие минуты!
Прятался день от проклятой гульбы.
Бредил убийствами вечер серый.
Силы свои для новой борьбы
отвоевала
товарищ Вера.

4. ГЕРОИ

Свинцовые грозы остались вдали.
Развеян пожаров дым.
Банкирам и панам своей земли
ни пяди не отдадим.
Во славу труда —
наша песня и стих,
и сердца любая струна.
Мы любим и ценим героев своих,
мы знаем их имена.
Дороги легли до заоблачных сфер.
Герои встают на посты.
Был разнорабочий, теперь инженер
и строит стальные мосты,
электрогиганты, комбайны, суда,
ровняет седые межи;
в степях молодые растит города,
свои бережет рубежи.
По звучным кварталам
печатных страниц
проходит не мало
прославленных лиц.
И город, откуда во все концы
добротный везут текстиль,
где славились фирмы,
гремели купцы,
а ткач не бывал в чести, —
наш ситцевый город сегодня богат
героями от станка.
Сыновняя слава становится в ряд
со славой отца-старика.
Не прежнюю песню, не горе-слова
ткачиха поет в тишине.
Работницы наши имеют права
на имя, на славу в стране.
По звучным кварталам
печатных страниц
проходит не мало
прославленных лиц.

Проходят герои минувших боев,
сыны городов, деревень.
Работница Вера,
здесь имя твое
и жизнь за ступенью ступень:
на Новой улице крепкий дом,
чужой до последней доски,
и дружба, и близкие сердцу потом
запретные эти листки.
Мятежная Талка,
рабочий совет.
И шаповский страшный двор.
И вдруг за неволей —
ярчайший рассвет,
октябрьский без края простор.
Еще недобитый
упорствовал враг,
грозил,
становясь поперек.
Но ты не свернула, хотя бы на шаг,
с прямых
большевистских дорог!

5. ОРДЕН

Что скрывать большую эту радость
от друзей по мысли, по борьбе?
Пусть она и голосом и взглядом
говорит открыто о себе.
Жизнь несет за половину века,
жизнь проводит борозды морщин.
Но тоски чужого человека
в закаленном сердце не ищи.
За станками выросла.
За ними
отсмеялся молодости сон.
В равнодушьи пропадало имя,
как терялось множество имен!
И сейчас не просто от досуга
заглядится прошлому в глаза, —
хочет больше
молодым подругам
о проклятой жизни рассказать.
Хочет так,
чтоб юными сердцами,
чувствами постигли те года,
что без солнца плыли над отцами,
вьюгами бессменными гудя.

— Жизни сеть, где бились мы, как птицы,
до последней крепи порвалась.
Нужно так работать и учиться,
как зовут нас партия и власть.
Этих дней горячее дыханье
не остудим ленью ледяной,
чтоб хозяев гордое названье
оправдать перед своей страной.
На ветру не затеряться слову.
Слово класса — песне и векам!
Слушают товарища Мялову
девушки подруги по станкам.
Это ясное, как день, сознанье,
не растраченное на пути,
этот Орден Трудового знамени,
что сегодня на ее груди, —
это все —
одна большая радость,
взятая в работе и борьбе.
Пусть она и голосом и взглядом
говорит открыто о себе.

МИХ. ШОШИН

РАССКАЗЫ

I. ЗАБОТА

— Прасковье ты сегодня есть не давай, — строго говорит жене Осип Исаич Снегирев, заматывая вокруг шеи длинный голубой шарф.

Он встряхивается, хлопает себя по бокам и довольный тем, что оделся тепло и удобно, уходит за порог.

На улице морозно и солнечно. Солнце ходит уже высоко, недалеко до капели и весенних дней.

На минуту ослепленный солнцем, он мигает, сбивается с дороги и, услышав совсем близко от себя дыхание бегущей лошади, торопливо сторонится.

— Осипу Исаичу — почет, — кричит из саней бригадир соседнего Акишинского колхоза Куделин.

— Задержись, — машет рукой Снегирев и подходит к саням.

— Я ведь с вашим инспектором по качеству, Игнатом Семенычем, соревнованье затеял. Слышал, поди? Посулился я до вас дойти, на месте проверить результаты. У меня здесь дело на мази. Семена отсортировали, сложили в крепкие закрома... На каждую лошадь к севу выделили по полтора центнера овса. Отложили лучшее сено и клевер. Надо вот поглядеть, как Игнат у вас заботится.

— Приезжай, погляди... У нас тоже как будто ничего... Я скажу ему, что, мол, дружок едет тебя проведать, дескать, держись! — заключает Куделин и подбирает вожжи.

Осип Исаич приподнимает шапку и шагает дальше. В колхозной кузнице шумно дышат меха, весело названивает маленький молоток и гулко грохает по мягкому раскаленному железу большой молот.

— Встать! Инспектор идет, — шутит старший кузнец Жохов,— давай, Исаич, мы тебя перекуем.

— Я уже перекованный, — отшучивается Снегирев.

Он осматривает инвентарь, выпущенный из ремонта, изредка бросая Жохову замечания.

Слова его ложатся прочно и веско, он говорит, твердо расставляя их:

— Гаечку стертую оставил, новенькую надо... Она свалится в первый день сева. Надо глядеть по-хозяйски, а не так, чтобы скрозь пальцы...

— Ага... учтем, — басовито отвечает Жохов.

— Это что означает — учтем? — недовольно косится на него Снегирев.

— Означает, что гайку сменим.

— Так и говори, что сменим... А то эка успокоил — «учте-ем»!

После разговора с кузнецом Снегирев направляется на конный

двор. Сегодня конюх Скороходов будет приучать к упряжке рыжевато-золотистую кобылу трехлетку «Ласку». Надо посмотреть, правильно ли он будет объезжать молодую лошадь.

«Ласка», впряженная в легкие санки, стоит у конюшни. Около нее конюх и толпа мальчишек.

— Меня поджидает, — Снегирев прибавляет шагу.

На конюшне он частый и взыскательный гость. Интересуется упитанностью лошадей, уходом за ними. Недавно производили основательную починку сбруи. Осип Исаич самолично осмотрел каждый хомут, седелку, подпругу и, убедившись в добросовестной работе шорников, сказал важно и расстановисто:

— За сбрую будем спокойны. Можно убирать.

Снегирев быстро подходит, осматривает упряжку и сразу находит неладное:

— Надо правый гуж к концу оглобли подвинуть, — говорит он Скороходову, — правую сторону ты короче заложил. Плечо молодице сбедишь, норовистой ее воспитаешь.

Уладив упряжку, он берет «Ласку» под уздцы. Скороходов садится в санки, Снегирев ласково и осторожно трогает лошадь и недолго ведет ее. Молодая лошадь слегка нервничает, но идет прямо. Снегирев неожиданно оставляет ее, «Ласка» в растерянности замедляет шаг. Осип Исаич теперь идет уже позади саней и, придерживаясь обеими руками за спинку, поучает Скороходова:

— Ты ни в каком разе не сердись и не дергай, не ошарашивай ее, а так—осторожно, спокойно понуждай вожжей. Она — лошадь умная, скорешенько поймет, что от нее требуется.

Скороходов шевелит вожжами и поощрительно цокает языком. «Ласка», щеголевато выгнув спину и как бы танцуя, быстро перебирает тонкими ногами.

Осип Исаич остается на площади села и придирчиво следит за «Лаской» и обращением с ней Скороходова.

Через час он уже стоит в поле. Колхозники возят навоз. Лошади, взбивая пухлый снег, тащат приземистые бурые воза. Там и сям чернеют кучи навоза.

Снежное поле, поднимающееся на изгорбь бугра, похоже на белую занавеску, засиженную мухами.

Снегирев окидывает взглядом поле и замечает, что на самом высоком участке навозу свалено мало.

«Надо сказать бригадиру», — решает он и по проторенной подводами дороге идет туда поговорить с колхозниками и через них передать бригадиру свой совет.

В сумерках Осип Исаич возвращается домой.

Раздевшись, он прижимается сутулой спиной к печке и спрашивает жену:

— Где Прасковья?

— На печи.

— Не кормила ты ее?

— Нет.

— И не выпускала никуда?

— Нет.

— То-то...

Когда садятся пить чай, Прасковья стремительно спрыгивает с печки, подбегает к столу, трется о серые валенки Осипа Исаича и жалобно мяукает.

— Погоди — будешь сыта, — уговаривает он кошку, — сейчас нельзя, не проси, крошки не дам. Накормишь тебя, а ты ночью работать не будешь...

После чаю Осип Исаич одевает на широкий нос роговые очки, подаренные ему на областном слете колхозников, и читает вслух газету. Отдохнув, он опять тепло одевается, подманивает к себе голодную Прасковью, берет ее на руки и уходит.

У амбара, где хранится семенное зерно, к нему подходит в необъятном тулупе с поднятым воротником сторож Иона Кадкин. Говорит он глухо, словно из колодца:

— Чего ты притащил?

— Кошку. В кладовую ее надо пустить: мыши зерно портят. Она им покажет, она их пощупает!.. Я сегодня ее весь день не кормил, чтобы она злее до них была.

— Дело, дело, — одобряет Иона, — ходячая ты забота, надо же до этого додуматься!..

Они пускают кошку в отверстие, прорубленное в пороге амбара, и затыкают его поленом.

Потом недолго гуторят: восторгаются тихой морозной ночью, строят догадки — какая нынче будет весна...

Расставаясь с Ионой Кадкиным, Осип Исаич говорит:

— Утром ты ее выпусти... Домой она сама прибежит.

II. ЧУТКАЯ СЕМЬЯ

Абрам Кочетов слег. В тот же день его доставили в больницу на колхозной подводе.

— Болезнь не страшная, — сказал доктор, — но стар ты. Сердце слабое. Останешься у нас.

Старик посмотрел на врача с почтительной покорностью.

В больнице его охватила тяжесть безделья. Ночью он спал мало, но тихо лежал на койке, стараясь соблюдать порядок; днем сидел, опустив голову, или смотрел в окно, завидуя дворнику, разгребавшему снег.

Абрам не знал, куда девать руки, не знал, чем успокоить сердце. Оно привычно подсказывало, что надо о чем-то заботиться, куда-то спешить. А здесь заботиться не о чем, спешить некуда.

От скуки начиналась злоба.

— Никому я, старый хрыч, не дорог, — думал Абрам Кочетов, — ко всем здесь сродники ходят, справляются о здоровьи, а ко мне и зайти некому.

В душу нахлынуло чувство одиночества и оторванности.

Старик представил себе, как он умрет просто и мужественно,

затаив большую обиду на свою одинокую жизнь. Он умрет без стона и жалоб. От волнения он поднялся и прошелся по палате с отчаянной развинченностью в походке.

Смерти он не боялся. Смерть он принимал, как последнюю невзгоду, а невзгод в его долгой жизни было много.

— Ты чего, старик, заскучал? — спросил его сосед по койке.— Ты сядь, расскажи что-нибудь. Родные-то у тебя есть ли?

— Были да сплыли, — угрюмо пробурчал Кочетов, — двух сынов на войне убили... Восемь годов будет тому назад, как овдовел.

— И больше никого не осталось?

— Третий сын в Красную армию ушел, да так в городе и остался. На заводе работает. Пробовал я жить у него да затосковал. По земле затосковал. Ушел опять в свою деревню... Один стал жить... В колхоз вписался... Жизнь пришла хорошая, да поздно пришла. Стар. Хочешь, я тебе чесанки откажу? Всю жизнь в «шептунах» ходил, а на старости лет чесанки с калошами завел. Все это очень прекрасно, но вот умирать в одиночестве приходится.

— Сторожем в колхозе-то?.. — спросил слесарь.

— Не все, дружок, старики в колхозе сторожами... Бывает еще так работают, что и молодым не догнать, — осадил его Абрам. — Ты сам-то кто?

— Слесарь. А ты?

— Свинарь.

— Ого! — с притворным восхищением воскликнул слесарь.

— Вот тебе и «ого»! Свинарник будет помудреней твоей слесарни, — гордо сказал Кочетов.

— Ты что тут расхвастался? — услышал Абрам за спиной знакомый голос, глянул через плечо и вскочил с койки. Перед ним стоял председатель колхоза. Молодое бритое лицо его, разрумяненное морозом, приветливо улыбалось.

Абрам на радостях поздоровался с ним «в охапочку».

— Садись, — засуетился старик, подвигая табуретку, — аль тоже захворал? Что у тебя болит?

— Ничего у меня не болит. Я просто пришел тебя проведать. Поправляешься ли?

— Нет... Все хуже и хуже... Помирать собираюсь, — припугнул он председателя.

— Я тебе дам — помирать! — председатель погрозил рукой в шерстяной перчатке с чуть приподнятым указательным пальцем.— Ты не шути этим... Смертью-то! У нас еще такие дела, такая жизнь будет! А помрешь — ничего этого не увидишь, ничего не узнаешь. Ты вот — поправляйся... Скоро горячая работа начнется, а тебя нет.

— Как здоровье на поправку пойдет, так и приду, — смиренно ответил Абрам.

— Что, значит «пойдет». Не захочешь, так плохо пойдет, — наставительно говорил председатель, — ты духом стремись выздороветь и выздоровеешь!

Председатель положил на тумбочку узелок, который до этого держал на коленях.

— Мы тебе гостинчик соорудили: мед, яблочки, хлеб.

— Хлеба мне здесь хватает.

— Наш хлеб целебный, — приподнято провозгласил председатель, развязывая узелок, — из своей пшеницы, своим колхозом пахнет.

Абрам понюхал и подтвердил, что верно — хлеб пахнет родными пажитями, родным колхозом.

— Ну, вот, и кушай на здоровье.

— Сродник? — спросил слесарь, когда председатель скрылся за дверью. — Кем он тебе доводится?

— Никем. Это наш председатель. Видишь — чужой, а осчастливил лучше родного. Душа-человек!..

Старику стало легко, весело и он заговорил горячо, от самого сердца. Ему казалось, что их колхоз знают все, и он рассказывал, не поясняя.

Слесарю многое было непонятно, но он слушал внимательно и временами восхищался. Он узнал, что Кочетов великий мастер своего дела. Старик умеет поросенка, родившегося мертвым, сделать живым. Он берет «ложку жизни» и устраивает искусственное дыхание, бьет ложкой по поросячьим ляжкам то боком, то плашмя. Навык и чутье подсказывают ему, в каком месте и как надо орудовать ложкой. И вот поросенок начинает дышать, дергать ножками.

Он еще долго и увлекательно рассказывал о свиноферме. Под конец слесарю показалось, что старик перескочил на другое и «несет» не дело. Кочетов рассказывал о каком-то Василии Ивановиче и о сыне его Егоре Васильевиче, который «весь в отца, а в своем деле почище его».

— Ты приляг, отдохни, — осторожно посоветовал ему слесарь.

— Ночью належусь, — обиженно сказал Кочетов, — а коль нет интересу слушать, так и скажи.

— Да вот мне непонятно, к чему ты отца-то с сыном приплел?

— Василий Иванович, сказываю тебе, — расстановисто проговорил Кочетов, — старый хряк, а Егор, стало быть, его сын — молодой хряк. Понял ли? Оба чистых кровей, белой английской породы...

После этой беседы свинарь и слесарь подружились и три дня ели мед, яблоки и хлеб.

Кочетов еще много рассказывал о колхозе и о своем искусстве оживлять мертворожденных поросят. Но слесарь слушал его уже менее охотно. Старик опять загрустил и стал собираться домой.

— Отдыхай, куда торопишься? — останавливал его слесарь.

— Пора, — отрезал старик, — скоро опоросы начнутся. А здоровье, сказываю, окрепло.

В день выхода из больницы Кочетов был приятно удивлен. В палату вошел колхозник Тимин.

— Ну, поедем.

— Видал, как у нас в колхозе хороших-то работников почитают? — бросил Кочетов слесарю и, обернувшись к Тимину, спросил:

— Как это вы дознались, что я сегодня выхожу?

— Председатель по телефону спрашивал.

— Ну, спасибо. Прямо сказать, почтили вы меня. Много доволен, — благодарно бормотал старик, прощаясь у своей избы с Тиминым, — за такое внимание я соответствую...

Он пошел к соседу, у которого оставил ключ, и, проходя мимо своего крыльца, увидел, что дверь полуоткрыта.

Он вошел в избу и увидел уборщицу дома правления Арину Ивановну, которая, истопив печку, подметала пол.

— Что ты у меня тут хозяйничаешь? — ласково обронил Абрам.

— К твоему приезду подогреть избу велели. Заботятся о тебе.

— Вот до какого почтения дожил, — говорил старик, усаживаясь у печки...

В эту минуту он ощутил, что живет в большой и чуткой семье, и от радости прослезился.

III. СУПРУГИ ЕРШОВЫ

Анисью Ершову выбрали председателем колхоза. Это была женщина речистая, бойкая, неутомимая. Ее муж Тихон, угрюмый и мешковатый человек, тоже получил повышение: его поставили на место проворовавшегося мельника. Ершовы из старой маленькой избенки переселились на мельницу.

На посту председателя Анисья держалась смело. Дома она стала бывать реже, часто отлучалась в город, но несмотря на это успевала выполнять все домашние дела: и шила, и варила, и стирала.

За рекой находился другой — Петряевский — колхоз, крепкий и богатый. Река была не широкая, но омутистая и бойкая и видимо в определение своего характера носила игривое название — Кузька.

Бабы того и другого колхоза сходились на реке у проруби. Согнувшись и подоткнув юбки выше колен, бабы полоскали белье и звонко перекликались.

Анисью они встречали у проруби усмешливым почетом:

— Вставай вот здесь. Самое председательское место.

— Я тут в прорубь скачусь. Вишь, плутовки, выгородили мне какую-то горку...

— Верно. Посторонитесь бабы еще, а то останется Чемашиха без председателя.

— Чемашинские нынче с этим председателем килограммов по восемь на трудодень заработают, — подтрунивали петряевские колхозницы, — вот помяни мое слово, заработают.

— Просмеетесь, — спокойно и голосисто отвечала Анисья, — вот увидите — красное знамя из вашего колхоза перейдет осенью к нам.

— Да ему и у нас неплохо.

— ...Принесете, в ручки мне передадите.

В шутливом тоне Анисьи сквозила уверенность, и в Петряевском колхозе заговорили об этом. Петряевские колхозники, приезжавшие на мельницу с помолом, говорили чемашинским:

— Храбрая у вас председательша: знамя у нас хочет отобрать! Только пустые это слова. Где уж бабе передовых обогнать!..

— Я и то ей говорю, — ввязывался в разговор Тихон, — с бабьим норовом Петряиху не обставишь, — про-о-махнешься!

И собеседники проникались к нему благородным уважением, считая его человеком правдивым и рассудительным.

Тихон смотрел на деятельность жены с завистливой снисходительностью. Он боялся, что Анисья выйдет из его подчинения, и втайне желал, чтобы она опять стала рядовой колхозницей.

Весна подбиралась крадучись, как бы тая мысль явиться невзначай и озадачить нового председателя. Но трудно было весне перехитрить опытную, наблюдательную женщину. Как-то, возвращаясь по разлужью из деревни на мельницу, Анисья заметила, что ручей, бегущий от Чемашихи в реку, «не в себе».

Ручей стал шумным, неистовым. Вода неслась как-то прыжками. Анисья вспомнила, что после такого бешенства ручья через день, через два всегда вскрывается река. Дома она заявила Тихону твердо и точно: через два дня будет ледоход и плотину следует немедленно к этому подготовить.

Тихон только ухмыльнулся и ничего не ответил.

Анисья бросила на него порицающий взгляд.

— Как хочешь... Было бы тебе сказано, — проговорила она, недовольная заносчивостью мужа.

— Ты там в колхозе руководствуй, а насчет реки и мельницы меня учить погоди, — сказал Тихон и опять заухмылялся.

Наперекор он стал определять свой срок ледохода и решил: река вскроется позже по той примете, что мельница не вздрагивает — значит напора воды еще нет. Он окончательно остановился на этом предположении, но все еще не мог успокоиться.

— Председателем стала, так уж думает, что все видит, все знает, — говорил он мысленно и, чтобы доказать, что он ни во что не ставит ее домысел, оба дня не притрагивался к плотине. С затаенной тревогой он ждал исхода этих двух дней, не переставая убеждать себя, что его срок правильнее.

Через два дня на третий после полуночи мельница крякнула и затряслась. Анисья толкнула мужа ногой.

— Слышишь, что Кузька делает?

Одно мгновение Ершовы лежали, вслушиваясь.

В посуднице дребезжали чайные блюдечки, сложенные горкой.

Анисья приподнялась на локоть:

— Говорила я тебе!..

Тихон вскочил, сунул ноги в сапоги, накинул на себя полушубок и без шапки выбежал на волю.

Река глухо неистовствовала в тесной загородке плотины. Под напором воды плотина стонала, как придавленное тяжелым грузом живое существо.

В полях тренькали и шумели малые и большие ручьи, вливаясь в реку.

Резкий и теплый ветер дыбом взбил волосы на голове Тихона,

распахнул шубу. Мелкими шагами вбежал он на обледенелую плотину и отчаянным напряжением всех сил открыл первый щит.

Льдина, невидимая в темноте, незаметно подползла к Тихону и столкнула его на край плотины. Он бросился назад, и, вскочив на льдину, ринулся к берегу, но поскользнулся. Льдина вздыбилась и раскололась. Тихон рухнул вниз.

На один миг он увидел полу распахнувшейся шубы и воронку бурлящей воды, которая дохнула ему в лицо страшным холодом. Потом все померкло.

Анисья спокойно ждала его пять-десять минут и потом сразу встревожилась. На плотине все затихло. Тихон не возвращался и не подавал голоса. Было ясно, что с ним случилось недоброе. Анисья быстро собралась и вышла. На плотине Тихона не было. Сердитая, резвая река разворотила плотину и все еще не могла успокоиться: шумела, ворчала, колола льдины. Теплый весенний ветер гладил лицо Анисьи, лез под платок, точно хотел что-то сказать ей о Тихоне.

Анисья закричала громко и призывно. Шумел ветер, журчали ручьи, трещали льдины.

Она сбежала с плотины и вгляделась в водоворот. Вода крутилась валами, разламывая и перебрасывая льдины.

— Ти-их-о-он« — в отчаянии прокричала она, страшась мысли, что муж больше никогда не отзовется.

Вода прибывала быстро, затопляла берега. Ощутив холод налившейся в полусапожки воды, Анисья очнулась и побежала дальше, не зная куда и зачем. Она бежала берегом, вглядываясь в темную массу воды, пригибалась и безбоязненно ступала в воду, готовая каждую минуту броситься на помощь. Вот только бы показалась из воды голова Тихона или раздался бы его крик. Но не слышно, не видно ничего.

Анисья уже не замечала, что полусапожки ее полны воды, что она сама может сорваться с затопленного берега и погибнуть. Она забыла о себе и лезла в воду, вглядываясь и призывая:

— Ти-и-ша! Ти-и...

Голос ее внезапно сорвался. Она запнулась и упала на бок. Холодная вода хлынула на нее, но Анисья тотчас же приподнялась, опираясь на руки. Под левую руку попало что-то мохнатое и мягкое. Шуба?!

Анисья вгляделась. Впереди как будто показалась на минуту голова Тихона и опять скрылась. Анисья вгляделась пристальнее. Опять показалась голова Тихона и опять скрылась. Вот наваждение! Наконец Анисья поняла: вода то на миг отступала на полшага, то опять заплескивала его голову. Река, смахнув Тихона с плотины, провернула его в бешеном круговороте водопада и, затихая на разливе, выплеснула на пологий берег.

...Анисья почти на руках принесла мужа в избу, раздела его, укутала шубами, поила чаем, растирала грудь, возилась с ним до рассвета.

— Не зря видно эту речонку Кузькой зовут, — глухо сказал из-под шубы Тихон, — подкузьмила она меня.

— Ты сам себя подкузьмил, — набросилась было на него Анисья, но тут же остановила себя и добавила тихо, озабоченно:

— Ну, ладно, Тиша, не тревожься... отлеживайся.

Вечером Тихон встал, покашливая и поеживаясь от колотья в боку. Из колхоза Анисья в этот день вернулась пораньше, тревожась за здоровье мужа.

— Плохо? — участливо спросила она, снимая платок с головы.

— Пройдет. Раздышусь, — пробурчал Тихон.

Через полчаса, убедившись, что Тихон на самом деле чувствует себя неплохо, она сказала жестко и значительно:

— Придется тебе записать деньков десять за этот недосмотр. Плотину прорвало... Очень большой убыток... На правлении обсудим..

Тихон промолчал и сконфуженно отвернулся.

Через несколько дней он вышел на реку посмотреть, какая починка потребуется плотине.

Берега обсыхали. Ручьи притихли. Укротившаяся, теперь спокойная река была чем-то близка ему. Река умиротворенно входила в берега, как бы раскаиваясь в своем поступке. Правота жены в определении срока ледохода, а затем ее самоотверженность и теплая заботливость прорвали в душе Тихона чувство мужского превосходства и самолюбия, как река плотину. Солнце слепило глаза. Равнина небесная и равнина земная были спаяны солнечным светом и теплом. От земли шел пар.

На низком берегу, где стоял Тихон, обтаял прошлогодний капустник чемашинского колхоза. С капустных гряд тянуло прелью. Серело бесчисленное количество полусгнивших, обмытых полой водой, кочней. Издалека капустник походил на перевернутую исполинскую борону.

На противоположном высоком берегу петряевские раскидывали навоз. Ветер перебирал лозины тальника и рябил воду. В поднебесьи заливались наперебой десятки жаворонков. Тихон дышал жадно и глубоко. Он стоял, наслаждался встречей с весной, не торопясь осматривать плотину. Петряевские заметили его и кто-то из них крикнул задиристо:

— Во-оро-о-она!

Другой сложил руки рупором и провопил по слогам:

— Же-на ош-тра-фо-ва-ла!.. Анисья вас, видно, выучит!

Тихон, чтобы лучше его было слышно, подбежал к воде и, размахивая руками, закричал:

— Верно, выучит... Красное-то знамя у нас будет. Отобьем!

С другого берега донеслось:

— Кишка тонка... Упрется!..

Охваченный гордостью за свою жену, Тихон не уступал:

— Наше будет знамя!.. У Анисьи ничего не отобьется... Перегоним вас... Наше знамя!!!

IV. ОГНИ

Архип Ашастин выехал из города в сумерках, рассчитывая после полуночи быть дома, в своем родном селе Воробьеве.

Дорога тянулась мимо лесного склада, новых построек пригородного хозяйства, спускалась по крутому скату и поднималась на косогор. Лошадь шла ходко, зная, что возвращается в знакомые места, в теплую конюшню.

С высоты косогора Ашастин пристальным взглядом обвел город. Зарево несметного скопища огней распирало нависшую хмурь осеннего неба. Огни то сияли одинокими лунами, то сверкали ожерельями драгоценных самоцветов, то, тесно сгрудившись в одном месте, полыхали огромными кострами. Давно остался позади косогор, пошли деревни, мелкие овражки, ровные поля, а город, разместившийся на высоком горном берегу Волги, все еще виднелся, все еще сиял вдалеке. С увеличением расстояния огней стало меньше и меньше, горели они тусклее, бессильнее и, наконец, исчезли.

Остался на небе только отблеск города — длинный светлый полукруг, как далекое зарево огромного пожара.

На душе Архипа было покойно, лошадь знала дорогу, шла уверенно, и он задремал.

В перелеске, падая, шуршали листья да побрякивали ветки, стукаясь друг о друга. В полях стояла гордая и величавая тишина.

На задке телеги звякало конское ведро и этот хилый звук разносился по всему необъятному полю. Глухая тишина пустых полей, скрип телеги и протяжное меланхолическое звяканье ведра нагоняли глубокий сон. Встретился обоз с льнотрестой, но Архип не пробудился. Умная лошадь сама разминулась с обозом и опять вышла на укатанную дорогу. Обозники даже не заметили, что этой лошадью никто не управляет. Архип видел себя во сне молодым парнем — трактористом... Любил он колхозную молодежь и во сне часто видел себя в ее среде... Молодой тракторист Ашастин идет за село... На свидание... Но его кто-то останавливает, не пускает... Архип огорчен... Над ним смеются, ему что-то кричат...

— Куда идешь? — почти явственно слышит он один навязчивый голос.

Молодой тракторист проходит мимо него, не удостоив ответом.

— Гражданин, куда едешь? — раздается над его ухом громкий незнакомый голос.

Архип просыпается от этого окрика и, приподнявшись на локте, видит: позади телеги идет человек с дубиной на плече.

Дрожь испуга начинает трясти Архипа, он обеими руками тянется к вожжам, привязанным за передок.

«Вот кнуты правление запретило, и плохо теперь, — мелькает у него в голове, — сейчас бы настегал лошадь и наутек».

— Да ты не бойся, — говорит незнакомец, — я только спросить хочу — далеко ли едешь?

— До Воробьева.

— Я тоже до Воробьева... Будь внимательный, посади, подвези ты меня...

— Да ты что за человек? — срывающимся голосом прокричал Архип, — «гражданин, будь внимательный», а сам с дубиной...

— Чего?.. Какая дубина?.. Это у меня треножник.

Пустое темное поле. Незнакомый человек, похоже сумасшедший, а может и лихой человек.

Чувство тоски, одиночества и ужаса охватило Архипа. В кармане деньги... В руках ни прутика, оборониться нечем. Нелюдимая и страшная ночь засматривает в лицо.

«Не зря бывало с собой в дорогу топор всегда брали», — подумал Архип.

— Что это за треножник? — в изнеможении крикнул Архип. — В уме ли ты?

— Я на него аппарат устанавливаю.

— Что за аппарат?

— Аппарат, который личность на карточки снимает.

— Фотограф? — догадался Архип. — Ох, припугнул ты меня... Проснулся, гляжу человек с дубиной на плече... Ну, садись.

Незнакомец положил около Архипа треножник и вскарабкался на телегу.

— А зачем ты в Воробьево ладишь?

— Подзаработать. Снимать буду. Прочитал в газете, что у вас нынче большой трудодень. Где достаток, там и культура. В чистой избе фотографию на стену приладишь — любованье! В богатом колхозе любовь получает большое развитие. Молодежь альбомы фотографий заводит, карточки любимым дарит. Это мы знаем.

— Так оно и есть, — с достоинством подтвердил Архип, — нюх у тебя правильный. Есть папироски «Ракета», желаешь подымить? Держи!

Архип поднес ему спичку, полыхавшую в пещерке ладоней и, пока незнакомец прикуривал, заглянул ему в лицо. Это был сухонький, с юркими хитроватыми глазками человек. Его маленькое узкое лицо было покрыто густой сетью мелких морщинок, на подбородке серебрилась в отсвете спички седая щетина.

«Ишь, какой сморчок, — подумал Архип, — старик ведь! А еще бойкий... На три десятка верст идет... инициативу проявляет...»

— У тебя скороспешная что ли? — спросил он снисходительно.

— Нет, у меня настоящая... Художественная фотография... Карточки через декаду... Я могу выпустить портрет даже в красках.

— Надолго ли к нам в Воробьево-то?

— Денька на два.

— Ничего ты в два дня не сделаешь. Тебя как звать-то?

— Егор Евгеньич.

— Вот что, Евгеньевич, — переезжай ты к нам совсем. Собирай свои монатки и катай к нам. Мы вот теперь своим колхозом письмоносца содержим, парикмахера, ну и фотографа можем. Отчего ж нельзя?! Будешь жить — мое вам почтение. У нас ты весь мясом обрастешь. Народ у нас работящий, честный... Привыкнешь к нам и не расстанешься. Тебе на старости лет воздух свежий нужен... А у нас летом — красота какая! Работы тебе у нас хватит... Фотограф нам нужен. Помещение мы тебе отведем... Колхоз большой... Желающих

сниматься — найдется... Опять же для стенгазеты .. скажем, бригада заняла первое место... На карточку ее! На ферме рекордистку выкормили... Снять ее!

— Н-нет, — вздохнул фотограф, черкнув на темноте огоньком папиросы, — не уживусь я в деревне. Я человек городской, привык к шуму, к свету, к огням. Теперь вот глухая осень наступает... Стемнеется в пять часов, зажжете вы лампенку, посидите с часик и на боковую... А я в это время еще только в кино или в пивную собираюсь... На улице как днем светло... Спать-то я за полночь ложусь. Ну, теперь пойми ты меня, разве я выживу в деревне.

— Понять мне тебя невозможно, — горячо ответил Ашастин,— я вот в городе четыре дня мотался и все думал — скорее, скорее бы домой... давно бы уехал, да делов много было. Разные вопросы своего колхоза в городе разрешал, — с гордостью подчеркнул он, — две овечьи тушки продал... Это уж для своего кармана, сам выкормил. Четыре дня с год мне показались... Сильно соскучился... У нас ведь теперь тоже и спектакли, и танцы, и кино... Красный уголок до двенадцати часов открыт. Читай, беседуй, просвещайся... Не хочешь к нам в фотографы? Не надо! Мы своего парня пошлем в город учиться, аппарат купим... Тебе только денежку сорвать, а он будет свой, колхозный. Мы ведь любим, чтобы человек был внимательным до колхозных интересов. Внесу предложенье о фотографе... Я ведь в колхозе активист! А жена у меня бригадир. Баба почетная.

Фотограф уныло принялся доказывать, что колхозному парню не овладеть «художественной фотографией», что это дело тонкое... Архип не дал ему договорить:

— Э-э... Отступись... Наши ребята на тракторах работают, на машине ездят и этому делу обучатся за милую душу. Ты наш колхоз плохо знаешь. Я тебе сказываю, что большой, богатый колхоз... У нас многому уже обучились и все больше и больше учатся. Я вот тоже в кружки хожу. Задачи решаю... На дробя.

Они еще раз закурили, но разговор уже не клеился. Фотограф отмахал сегодня километров десять, и его усталое хилое тело одолевал сон.

В городе, в доме колхозника Архип спал плохо, выходил ночью проведать лошадь, попоить, подбросить сена...

Дорога дальняя, в телеге хорошо покачивает, время к полуночи. Править сейчас лошадью — только раздражать, сбивать ее.

Она сама знает, чувствует дорогу.

Фотограф похрапывал. Архип положил голову на мешок с остатками овса, свернулся и сладко задремал.

Первым проснулся фотограф. Стуча от холода зубами, он огляделся вокруг и ужаснулся: впереди сверкали цепочки и букеты электрических огней.

Он стремительно подполз к передку и ухватился за правую вожжу. Лошадь неохотно поворачивала назад.

— Ну, чорт, шевелись!

— Ты что тут делаешь? — спросонок окликнул его Архип.

— Видишь, огни... пока мы спали, она повернула и пришла опять в город.

Лошадь завернула, вышла на дорогу и встала, не желая итти в обратную сторону.

— У-у, дьявол!

Фотограф ударил ее треножником и замахнулся вновь, но Архип больно ухватил его за руку.

— Нельзя... Избивать коня, приятель, я не дам... Он мой, колхозный. Тебе, конечно, коня не жалко, а мне он дорог.

— А что ж он, бес, опять в город повернул, — рассерженно бурчал фотограф, укладывая в телегу треножник.

— Мы сами виноваты, не надо было дрыхнуть...

Архип ерзал и ахал.

— Это кто-нибудь над нами пошутил. Нехорошо вышло. Конь дорогу до села знает, не собьется... Сам он к городу не повернул бы... Есть такие встречные, видят—человек на подводе спит, повернут лошадь и вся недолга. Бывает. Любят подшутить... После и узнаешь кто, но ничего с ним не поделаешь... Не спи... Но и то надо взять во внимание — дорога дальняя, в телеге потряхивает, ну и как не бейся — сон одолеет.

Повернув назад голову, Архип вгляделся вдаль.

— Верно — огни... Город виднеется... Ах ты грех какой!.. Вот беда... Ну, сейчас доедем до жилья и на ночевку попросимся.

— Зачем это тебе ночевка? — встревожился фотограф.

— Надо дать коню отдых.

— Я день теряю.

— Мне конь дороже твоего дня. Заставить его пройти двойной путь без отдыха — это погубить коня.

— Но завтра ведь в колхозе праздник. Я упущу горячее время. А на другой день ко мне никто не придет сниматься. Нет уж, ночевать не будем.

Архип возмутился.

— Да ты что за начальник надо мной? Из-за тебя я коня портить не желаю... Не садился бы ко мне...

— Если бы знал, что ты такой ротозей, не поехал бы...

— А если бы я знал, что ты такой рвач, не посадил бы...

Так они ссорились долго, сидя в разных углах телеги.

Ночь была темная. Деревню они заметили только когда уже въехали в улицу.

Фотограф спрыгнул с телеги и, сказав: «А ну тебя к дьяволу, пойду домой», — скрылся в темноте.

Архип направил лошадь к ближайшей избе. В тишине раздался частый звенящий стук в окно.

— Далеко ли до города? — спрашивал фотограф.

— Далеко, — ответил ему сонный женский голос.

— А до Воробьева?

— Рукой подать...

— Чего же это светит? Вон огни-то...

— Это Воробьево и есть.

— Так почему же от Воробьева свет идет как от города?

— У воробьевских теперь лектричество.

— Э-эй! — завопил фотограф: — Где ты, колхозник?

Ашастин повернул лошадь в противоположную сторону улицы и остановился у первой попавшейся избы. Постучал. Выглянул хозяин. По голосу и быстрой сообразительности Архип определил, что это человек совсем еще молодой. Не вдаваясь в подробные расспросы, он согласился пустить путника на ночлег.

— Телегу оставь на улице, а лошадь на двор введи. Сейчас я тебе посвечу, — сказал он, закрывая окно.

Через несколько минут раскрылись ворота, Архип на поводу ввел выпряженную лошадь во двор, тускло освещаемый стеариновой свечей.

— Где тут ее поставить? — обратился он к хозяину.

— Архип Сидорыч, как это ты ко мне надумал?..

Архип так испуганно и резко подался назад, что лошадь отпрянула в сторону.

Перед ним стоял молодой председатель соседнего Притыкинского колхоза — Бобыльков.

— Архип Сидорыч, не узнал меня?

— Как не узнать... Узнал... Только ведь я думал, что около города нахожусь. А это стало быть Притыкино? Как же это? Впереди огни... Так и сияет вся сторонушка...

— Так ведь вам электричество провели... Неужели ты не знаешь? Как ты ко мне ночевать-то попал?

В смущении рассказывал Ашастин сбивчиво и сердито.

Бобыльков смеялся. Он весь отдавался этой радости смеха. Ноги его не держали. Он прислонился к стене, продолжая хохотать.

Архип дернул за повод, повел лошадь к телеге.

Вскоре вышел из ворот Бобыльков. Со свечей. Щитком руки он загораживал пламя свечи от ветра.

— Архип Сидорыч, ночуй.. Ну, куда ты поедешь в такую темку... дорога дальняя... четыре километра, — подтрунивал Бобыльков, сдерживая взрывы смеха.

— Э-э-й, воробьевский... э-ээ, — носился по улице тонкий дребезжащий голос фотографа.

— Товарищ Бобыльков, — просяще заговорил Архип, — не сказывай ты никому об этом.

— Почему? Позорного тут ничего я не вижу... Человек четыре дня не был в колхозе... без него дали свет... Приехал ночью и не узнал своего села в электричестве... Радостный факт.

— Так-то оно так... Конечно, это радошно... — мялся Архип. — Да ведь, пожалуй, к этому прибавят. Скажут — а-а, не узнал, около своего села сбился, значит, пьяный был... У меня авторитет... Ты руководящий человек, понимаешь. Может ты и сам думаешь, что я выпивши запутался... Ни капельки... Трезвый я, товарищ Бобыльков... Могу дыхнуть... Удостоверься... Я ни в едином глазе...

— Да что ты, Архип Сидорыч! Ты активист известный... можно ли на тебя такое подумать...

— Э-эй... колхозник! — вопил фотограф, блуждая по деревне.

— Кто это голосит? — спросил Бобыльков.

— А я рассказывал тебе... Тот, что меня с толку сбил. Городской-то!

— Э-эй, воро-о-бьевский...

— Ооо... Здесь я, — прокричал в темноту Архип.

Он уже запряг лошадь, распрощался с Бобыльковым и уселся в телегу. Подошел фотограф.

— Садись, поедем... Узнал я — это не город, а наше Воробьево.

— Узнал... Какой знаток! — злился фотограф. — А разве ты раньше не знал, что у вас есть электричество?!

— Я же четыре дня, сказывают тебе, дома не был. Без меня загорелось!

— Эх, ты... Не знаешь, что в своем колхозе делается. Ведь электричество не в один день провели... Электростанцию строили долго, поди...

— Нас в сеть включили.

— Ну так проводку...

— Конечно, проводку... Знаю... Ты же меня сбил с толку-то... В город приехали, — заверещал... Лошадь принялся бить... Нешто я дам коня бить. Ударил бы ты его хоть еще раз, так я бы тебя с телеги турнул... Тоже — «я в деревне не уживусь, в город сбегу», а сам Воробьево от города не отличил.

— А ты отличил? Сиди уж...

— Не отличил... Верно... Не узнал... Да нешто отличишь... Эва, полыхает... Огней-то! Вот-те и Воробьево! Засияло!

АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ

СТИХИ

МАТЬ

Ты вывела в люди нас.
И вот мы стоим во весь рост,
с тебя не спуская глаз.

А ты постарела, мать.
Когда обнимаешь тебя,
хочется мир обнять.

В глазах твоих столько тепла,
что хватит на всех матерей!
...Не ты ль по ночам не спала

с того рокового дня,
когда увели отца
жандармы, саблями звеня?

Запомнили — я и сестра —
крылья их сизых усов,
нашивки из серебра,

походку павлинью их,
тяжелый отцовский шаг,
скорбь глаз материнских родных.

В ту ночь поседела ты
в свои двадцать восемь лет
от горя и маяты.

Но каждое утро гудок
тебя поднимал и вел
сквозь пасмурный городок

к станку. И кружились дни,
подобно веретену.
А мы оставались одни.

Играли. И я, оголец,
хотел быть таким же, как он —
наш добрый, сутулый отец.

Мы все-таки были детьми
отца своего. И я
не раз убегал из «тюрьмы».

с сестрой — с «каторжанкой» сестрой.
Встречался глухою порой
за печкою в полутьме

И нас не могли поймать
жандармы — ухват с помелом.
Но тут возвращалась мать.

О, как мы ласкали тебя,
прильнув к твоему животу,
платье твое теребя.

В глазах твоих столько тепла,
что хватит на всех матерей.
Беременна ты была.

Мы знали, что кроме нас
под сердцем есть третий. И он
ждет часа... И пробил час:

у самых фабричных ворот
жандармы схватили тебя
и били и били в живот.

Мы были малы, чтоб понять:
за что же? (Листовки нашли).
...Мы год не видали мать.

Ютясь по чужим дворам,
мы знали, как горек хлеб
с сиротской слезой пополам.

Ну, как позабыть тот миг,
когда ты вернулась к нам.
Мы все-таки были детьми.

И дети, не детским умом,
постигли, что умер он —
наш братец. Но мы не умрем!

Во имя его нам жить,
любить, что любила ты,
и ненависть в сердце копить.

———

Ты вывела в люди нас.
И вот мы стоим во весь рост,
с тебя не спуская глаз.

В глазах твоих столько тепла,
что хватит на всех матерей!
...А ты по ночам не спала.

а ты все ждала отца.
Вернулся отец и взял
на руки огольца.

В семнадцатом грозном году
впервые увидели мы
на серой фуражке звезду.

Вернулся отец, чтоб опять
с ткачами уйти на фронт.
В толпе матерей шла мать.

И вот — многолюдный перрон,
последнее слово «прости».
И тронулся эшелон...

Мы гордые шли домой
и ветер трепал твою шаль,
дырявую шаль с каймой.

...Сестра подросла, я окреп,
хоть ели мы с шелухой,
со жмыхами горестный хлеб.

Но всякому свято свое,
и женщины городка
на армию шили белье,

воспитывали детей —
задумчивых огольцов,
и ждали желанных вестей

Дожди проходили вкось,
пылила во тьме пурга.
А сердце к отцу рвалось.

Тогда я узнал одно
слово — как сталь, как свинец,
бессмертьем зовется оно.

Шел год, девятнадцатый год.
Под Лбищенском мой отец
лег грудью на пулемет,

и чтоб не достался врагу,
с ним вместе себя взорвал...
Я ненависть берегу:

она перешла ко мне
сквозь годы, сквозь столько верс
в дыму, в пулеметном огне.

А ты постарела, мать.
Когда обнимаешь тебя,
хочется мир обнять,

который построен тобой,
вынянчен сердцем твоим —
огромный и голубой!

САША

Ты росла в краю дремучем,
Твой любимый старый лес,
упираясь прямо в тучи,
на сто верст шумел окрест.
Поднималась над сторожкой
песня девичья звонка.
Знала каждая дорожка
Сашу — дочку лесника.
Ты, как деревцо, корнями
в жизнь лесную проросла.
Дорогими именами
все деревья назвала.
Берегла их, охраняла
от пилы и топора...
Так жила, тоски не знала
леса кровная сестра.

Но судьба твоя другою
обернулась стороной.
Неожиданное горе
в сердце хлынуло волной.
Как ты плакала вначале,
слыша отзвук топоров,
как ты шла, полна печали,
мимо срубленных дерев.
Но звенела чья-то песня.
И в просветах голубых
ты увидела ровесниц —
лесорубок молодых.
И девчата пособили
словом ласковым тебе.
Окружили, расспросили
о лесной твоей судьбе.
Говорили:
— Слушай, Саша!
Мы такие же, как ты.
Над землей веселой нашей
мы несем свои мечты.
Пусть падет под топорами
твой любимый старый лес, —

встанет новыми домами
он на сотни верст окрест.
Значит, лес не умирает,
он поднимется с земли...
Проплывут, трубя,
от края и до края
корабли.
Он раскинется поселком,
и в своей большой судьбе
малой спичкой,
светлым шелком
нам напомнит о себе.

Ты запела.
Звонкий голос
рос над лесом.
Твой топор
эхом вольным и веселым
оглашал лесной простор.
И девчата полюбили
Сашу, как свою сестру.
Вместе по лесу бродили,
вместе пели на ветру.
А прошла зима —
по водам
гнали к пристаням плоты.
За работой, в хороводах
о родном мечтала ты,
как засеешь семенами
каждую ладонь земли, —
чтоб могучими корнями
в землю зерна проросли,
чтоб, покачивая кроны,
поднимался до небес
вечно юный и зеленый
Сашей вынянченный лес...

А под осень от сторожки —
от любимой, от родной —
увела тебя дорожка
в город, в техникум лесной.

ЦВЕТОК

Цветок засохший, безуханный

А. С. ПУШКИН

Прикрою лишь глаза ладонью
и я увижу отчий дом,
сестрицу-босоножку Соню
в платочке, в платьице простом.
И я увижу по соседству
с суровой юностью моей
ее безрадостное детство,
бегущее по тропкам дней.
Навстречу детству — запах горький,
да крик фабричного гудка,
глухие, пыльные задворки,
где ни травинки, ни цветка.
А ей хотелось быть с цветами,
плутать аллеями садов.
Ей снились душными ночами
глаза раскрытые цветов.
И не с того ль себе заветный
нашла сестрица уголок —
и на задворках чуть приметный
взрастила аленький цветок.
Он ей казался целым садом,
стоцветным, радужным мирком.
Ее младенческая радость
жила в цветке, жила цветком...
...И он зачах, как чахли дети
задворок, свалок, пустырей.
И нет цветка. И нет на свете
сестрицы — радости моей.
Но стоит только с глаз усталых
мне снять ладонь, увижу я
в цветах, в рассветах небывалых
свои родимые края.
Увижу прозелень лужаек,
аллеи скверов и садов,
услышу пенье детских стаек
на детском празднике цветов.

РАДУГА

Семицветная эстакада
перекинулась над землей.
Невидимые крылья прохлады
над тобою и надо мной...

Отстучали дождя дробинки,
за холмы откатился гром.
По тропинке, как по сарпинке,
мы к зеленым холмам идем.

Сколько знали мы в жизни радуг,
а такой не видали мы,
может быть потому, что рядом
поднимаемся на холмы.

Может быть потому, что вместе —
сердце в сердце, ладонь в ладонь —
с обоюдной, июльской песней
мы под радугою идем.

А она в семь цветов эстакадой
перекинулась над землей.
Невидимые крылья прохлады —
над тобою и надо мной...

И твои загорелые руки
в загорелых моих руках.
Я не думаю о разлуке,
о далеких и звонких путях.

Пусть мы будем не вместе, не рядом,
но запомним — и ты и я —
семицветную эстакаду,
налитые ее края.

Над работой, над нашими днями,
над любовью, сверкая, звеня,
встанет радуга между нами,
сердце с сердцем соединя.

ВСТРЕЧА

Днем осенним, днем богатым
самым праздничным в году
шли по улице девчата,
пели песни на ходу.
Прославляли в песне осень
и плодов ядреный цвет.
Шли девчата — ровно восемь,
всем по восемнадцать лет.
Взявшись за руки, подруги
выходили за село.
Пели песню о разлуке
и о том, что подошло
время встречи.
Между прочим
вглядывались все туда,
где над насыпью, как росчерк,
пролетают поезда.
Не покажется ли дымка!
Билось сердце: «Ну, а вдруг
не приедет ни один как?!»
Опускались крылья рук...
И гадали в чет и нечет:
«Все — и вдруг — без одного.
Неужель так и не встречу
друга сердца моего?!»
И стояли, беспокоясь
за несчастную любовь...
Мчался поезд, скорый поезд
длинной просекой столбов.
Поравнялся с тем разъездом,
от которого верст пять
ходу до села Созвездье,
постоял — и в путь опять...
И тогда за синевою
все увидели, как в ряд
шли дорогой столбовою
ровно восьмеро ребят,
как, поднявшись на пригорок,
выросли во весь свой рост
в жарком блеске гимнастерок,

в заревом сиянье звезд,
в песне о путях далеких —
голубой кайме границ,
в песне о путях высоких
серебристых зорких птиц.

Лунной ночи было любо
освещать осенний сад,
яблоками пахли губы
у ребят и у девчат.

МИХАИЛ МАРКОВ

СТИХИ

I. РОЖДЕНИЕ

В музее не встретишь такой тишины.
Уснул квартал знакомый.
И только ярко освещены
окна родильного дома.
И только не спится
усталому мне,
бреду я местами нехоженными.
Сухие сучки и трава,
как в огне,
трещат под подошвами кожаными.
Я тороплюсь,
мне разлука страшна.
Бегу я в конец деревушки.
Быть может, там Шурка —
мой друг и жена —
стонет от болей в подушку.
И я тороплюсь
поскорее к врачу.
Мне в одиночестве жутко.
— Откройте, стучу,
впустите, стучу,
хотя бы, стучу, на минутку.
Выходит сестра.
Очень белый халат
и зубы белые тоже.
— Я... знаете...
Я... говорю, виноват,
я, говорю, встревожен.
А сам напираю вперед и вперед,
костюм теребя свой синий.
Сестра улыбается,
руку берет,
меня поздравляет с сыном!
И покачнулась земля,
и дворы,
и дом, где лежат роженицы.
И показались мне брови сестры
колосьями спелой пшеницы,
и дух захватило. Неведомый шквал
приподнял меня, крылатый.

Я обнял и... крепко поцеловал
девушку в белом халате.
Конечно, обиделась.
Что ж! Не ропщу.
Это уж было слишком.
— Сестрица, прошу,
дорогая, прошу,
взглянуть бы, прошу, на сынишку.
Он, верно, глазами
похож на меня.
Бровями похож, вероятно,
а это, родная сестрица моя,
отцу чрезвычайно приятно.
Сестрица жестока:
— Нельзя. И к тому ж
явились в горячий момент вы.
— Быть может, не верите,
что я муж?
Пожалуйста, вот документы.
И все ж не пустила,
и голос мой
был, видно, просто лишним,
и я пошагал по-отцовски домой...
Цвели на задворках вишни,
любовные в голову лезли стихи,
роса освежала травы.
Запели бессонные петухи
за дальнею переправой.
Я шел по лужайке.
Рассвет от реки,
ромашки тянулись к небу.
Счастливым таким
и гордым таким
еще никогда я не был.

II. РАДОСТЬ

Мы идем... Направо — поймы.
Прямо — сад. А там — овсы.
На руках моих спокойных —
семидневный первый сын.

Он глазенки жмурит, малый,
в детский свой мирок маня,
мой забавный запевало —
капля в капельку в меня.

Кем ты будешь неустанный,
житель солнечной земли?
Или храбрым капитаном
поведешь ты корабли

в неизведанные воды,
в тайну северных широт,
где бушует непогода
по неделям напролет?

Или дерзким стратосферцем
наберешь ты высоту.
Молодое твое сердце
разгорится налету?

Под тобой задорно льются
песни радости, труда.
Под тобою, как на блюдце,
села, реки, города...

Или от полей богатых,
от вишневых здешних мест
ты поедешь делегатом
на колхозный важный съезд.

На трибуну выйдет скромный
человек уже седой.
И качнется зал огромный,
и ворвется в зал прибой.

Люди встанут. Глаз их зорок.
И продолжится салют —
может двадцать,
может сорок,
может пятьдесят минут.

Так подъемно рукоплещет
только океан людей.
Так встречают самых вещих,
самых дорогих вождей.

Кем ты будешь, голосистый
я не ведаю пока, —
но достойным коммунистом
будешь ты наверняка!

В. ПОЛТОРАЦКИЙ

МАШИНИСТЫ

I

На окраине города, там, где кончаются фруктовые сады предместья, густой сетью раскинулись рельсы станционных путей.

По ночам, когда город уже спит, успокоившись от дел и забот, на станции ярко горят электрические фонари, перекликаются маневровые паровозы, гремят буферами составы, шумит силовая станция, в депо стучат молотки, а на стрелках и блокировочных постах вспыхивают зеленые и красные огни сигналов.

Здесь идет обычная хлопотливая жизнь. Круглые сутки работает депо, посылая на линию паровозы к Горькому, к Мурому, к Москве...

И в полночь — за полночь рассыльный, старик Давыдов, идет с фонариком темными переулками в слободку будить бригаду к поезду.

Здесь не знают строго установленных смен: придет Давыдов, постучит в окошко и скажет: «К пассажирскому, в два тридцать»... — значит, собирайся и иди.

Слободка — по-старому Шемиловка, по-новому — Рабочая — начинается тут же за станцией... Живут здесь поколения машинистов, помощников, слесарей, — «деповских», как называют их в городе.

...В начале лета, когда цветут вишни, слободка одевается в праздничное платье. В эту пору она кажется лучше, моложе, счастливей. С утра над садами стоит розоватая дымка цветения и слышится золотое жужжание пчел.

На рельсах тоже чувствуется весна, и даже под закопченными сводами депо в эту пору становится веселее и легче. В распахнутые окна врывается теплый ветер и солнечные зайчики прыгают по пропитанному мазутом полу.

Иногда придет паровоз, украшенный свежей веточкой березы, — наверное молодой помощник сорвал ее где-нибудь на разъезде.

...Летом обычно уменьшалось количество перевозок, и депо чувствовало себя свободнее. Но в этот год на Восток повезли машины, строительный материал, фураж... Увеличился график и пассажирских поездов.

*

Тень от палисадника косыми линейками перечеркивала дорожку.

Было жарко.

Возле чьих-то ворот, прыгая на одной ноге, играли дети. Тут же в тени дремала собака, высунув розовый язык. Над ней роем кружились мухи.

На углу, у водоразборной колонки стояла девушка. Голые руки ее блестели загаром.

Николай Шапкин пересек маленькую, заросшую травой улицу, и переулком пошел к депо. Он только что поругался с женой из-за пустяков, накричал на нее и, чтоб не видеть ее слез, ушел из дому.

Был он горяч, бестолково криклив, но скоро остывал... И сейчас, припоминая обстоятельства ссоры, он укорял себя: «Зря я, и вовсе Лена не виновата. И дурой зря обозвал... К тому же соседи наверное слышали. Ай, как все это нехорошо получается»...

Высокий, неуклюжий, он шел, широко размахивая длинными руками. По походке Шапкина узнавали издалека. «Верблюд идет», — говорили о нем...

За переулком начиналась «полоса отчуждения». На черепичных крышах станционных построек ярко блестела угольная пыль. Меж рельсов земля была черная, пропитанная мазутом. Около депо, на сложенных в клетку шпалах, сидели рабочие.

Машинист Столешников, низенький, с острым вытянутым лицом, на котором примечательней всего были жидкие тараканьи усики, поднялся навстречу Шапкину.

— Баня, говорят, была тебе? — спросил он.

— Какая? — притворно удивился Николай, а сам подумал: «Неужели и он слышал?..»

Вчера на заседании партийного комитета Шапкина сняли с работы парторга депо. А перед этим его вызывали в политотдел «строгать», как он выражался. «Строгали» отчаянно.

— 37 процентов больных паровозов, — говорил начполит. — А вы, товарищ, что делали? Вы ни чорта не делали. Депо срывает графики движенья. Транспорт должен работать как часы, а он работает как... как черепаха!

«Черепаха не работает», — подумал насмешливо Шапкин.

— Сейчас маринуете грузы, тормозите строительство, и с вами еще, можно сказать, миндальничают. А если нам потребуется везти армию? Что вы будете делать тогда?

Шапкин ушел молчаливый, обиженный, но так и не понявший хорошо, за что его сняли.

— Будет, значит, походил в начальниках? — насмехался Столешников, подергивая свои тараканьи усики.

— Я сам выпросился... Опять на паровоз ухожу, — говорил Шапкин, — пусть теперь новый покрутится.

— Прислали нового-то? Из каких он?

— Из Сормова. Макар Канычев.

Ничего, толковый?

— А кто ж его знает. Может и ничего. Только спросили его: «С транспортом вы, товарищ, знакомы»? — «Да, говорит, — немножко, в девятнадцатом году бронепоездом командовал»...

— Значит, командовать может! — заметил Столешников.

На рябом лице Шапкина, густо изъеденном оспой, проступила краска гнева. Шевельнулись лохматые брови.

— Командовать мы тоже мастера...

«Легче с таким-то», — подумал Столешников, а вслух произнес:

— Я за транспорт болею и должен сказать, что нам свой брат-железнодорожник нужен. Варяги нам ни к чему, от них помощи не жди. — И, помолчав, машинист добавил: — Мне, конечно, как беспартийному, все равно.

Поодаль от депо «под паром» стоял паровоз Столешникова. Помощник уже раза два давал сигналы гудками, а машинист все не шел. Ему надоело ждать, и, высунувшись из будки, помощник крикнул:

— Федор Васильевич, — опаздываем. Пятнадцать минут просрочили.

— Сейчас, — отозвался машинист. — А баня-то все-таки была тебе? — подмигнул он Шапкину. — Я сразу понял... Ну, пока!

Столешников пошел к паровозу.

— Хитер мужик, — сказал кто-то из слесарей. — На три аршина под землей видит.

Шапкин сел на освободившееся место и закурил. Ему бы нужно было зайти сейчас в партком, поговорить с Макаром, но он решил не ходить: «понадоблюсь, пусть сам придет»...

На линии шла своя обычная жизнь. Путейцы, гремя длинными молотками, поправляли стрелку, подсыпали в промежутки между шпалами желтый балластный песок. Маленький закопченый паровоз протащил куда-то вереницу платформ, груженых свежими смолистыми бревнами...

В тупичке стояли «больные» вагоны и сквозь их печальные ряды весело просвечивал яркой зеленью берег Клязьмы...

В распахнутых настежь воротах депо показался начальник Никитин. Грузный, широкоплечий, он был одет в форменную тужурку со звездочками на черных петлицах. Седоусый, смотревший исподлобья, Никитин с виду был строг. На самом же деле он был человеком слабовольным, нетребовательным.

— Посиживаете? — спросил он у слесарей.

— Да только вот сели закурить, — ответил маленький веснушчатый слесарь и стал свертывать папироску.

— Работать надо, ребята. Паровозы-то ждут вас.

— Что уж это, и закурить нельзя? — затянул тот же слесарь.

Но Никитин уже отвернулся и сказал, обращаясь к Шапкину:

— Ты, Николай, был нынче там? — начальник кивнул головой в сторону белого двухэтажного здания, где помещается партком.

— Нет, надо будет — прищлют. Не мальчик бегать...

«Обиделся, — подумал Никитин, глядя на носки сапог, испачканные мазутом и запыленные угольной пылью, — неприятно, конечно»...

— Так, значит, на паровоз теперь? — сказал он. — А паровозов-то и нету... Беда!

*

Ночь была теплая, душная.

В открытые окна тянулись причудливо вырезанные листья

плюща. На письменном столе мягко поблескивала зеленым абажуром лампа. Вокруг нее металась залетевшая на огонек серая ночная бабочка.

Сбоку от стола примостился старенький клеенчатый диван.

Квартира, которую отвели новому парторгу — рядом со станцией, — была еще не обжитой, не устроенной и ему не хотелось туда итти.

«Ничего, диван подходящий, на нем и высплюсь»—подумал Макар.

Над диваном, в простенке между окнами, висела большая карта магистрали. Жирная красная черта начиналась где-то в Приднепровьи, тянулась к Харькову, Курску, Москве и дальше, через Владимир, к Волге...

Макар подошел к окну. Влево россыпью огней раскинулись станционные пути. Надоедливо стрекотал дизель на водокачке. Где-то далеко тоскливо пел рожок стрелочника. Баском отзывался маневровый паровоз.

С реки тянуло влагой.

Около депо кто-то ходил с факелом. Пламя качалось в темноте, и в его багровых отсветах шевелились огромные тени. На блокировочном посту громко ругались сцепщики.

На востоке наметилась бледная полоска ранней летней зари...

— Прилягу. Скоро светать начнет.

Он взял со стола книжку и лег на диван. На второй странице книжка показалась Макару скучной, он закрыл глаза и так лежал, прислушиваясь к шуму, что происходил за окном, на рельсах...

Во всем этом было что-то знакомое, но что именно, он никак не мог догадаться. И уже засыпая, в полусне он вдруг вспомнил, что так же вот было пятнадцать лет назад, на Украине, когда он командовал отрядом. Такие же были ночи на жестком неудобном диване, или прямо на полу, такие же шумы за окном, переклички гудков...

В седьмом часу, словно от какого-то толчка, он проснулся. Наступал яркий солнечный день... И вдвойне нелепо в это солнечное утро раздались тревожные гудки паровозов.

Макар выбежал на площадку, окликнул проходившего мимо рассыльного.

— Дед, что случилось?..

— Где? — спросил тот.

— Да гудки-то зачем?..

— А-а, говорят, Столешников покалечил вагон... Стал порожняк в тупичок осаживать, а все с форсом, все с шиком охота — ну и долбанул.

Макар пришел на место происшествия, когда там уже собралась порядочная толпа.

Искалеченный вагон лежал на боку, ощетинившись разбитым кузовом. Рельсы под ним были испорчены и из земли торчали концы развороченных шпал.

Помощник машиниста громко спорил с составителем поезда. Макар прислушался к их спору.

— Тяга тут не при чем, — доказывал помощник, — эксплоатация должна отвечать.

— Стрелочник виноват? Да? — кричал составитель. — Стрелочник? Знаем мы вас, — паровозная бригада виновата!

Столешников стоял в стороне и, как ни в чем не бывало, закуривал.

— Что же вы, товарищ, наделали? — спросил у него Макар.

— А что?..

Столешников, не скрывая насмешки, глядел на Макара. Парторг был почти одного с ним роста, только был кряжист и широкоплеч. В лице его было что-то монгольское: широкие скулы, чуточку раскосые глаза...

— Что же такого? — переспросил Столешников.

— Как что? Ведь испорчен вагон, изуродован путь! — Макара начинало бесить это хладнокровие машиниста. — Ведь это же преступление, товарищ Столешников!

Машинист докурил папиросу, бросил ее под ноги и придавил каблуком сапога.

— Зря кипятитесь, товарищ парторг, — наставительно начал он, — с транспортом вы еще не знакомы. У нас это дело обычное и может со всяким случиться. Если бы, скажем, я паровоз разбил, ну тогда действительно...

— Этого еще нехватало!—сказал парторг, гневно щуря глаза.

— К тому же я тут меньше всего виноват. Составитель сигналы перепутал. Я вот сейчас начальнику депо объясню...

И, считая разговор оконченным, машинист неторопко пошел к депо. Макар оглянулся и заметил в толпе Шапкина. Тот стоял, прислонившись к тендеру, и молча наблюдал происходящее.

— Что ты скажешь на это, товарищ Шапкин? — спросил у него Макар.

— Ничего не могу сказать...

— Ты же здесь свой человек!

— Так что же?..

Шапкин отвернулся и пошел прочь, рабочие стали расходиться.

«Безобразие — подумал Макар. — Попал ты, товарищ Канычев, в обстановочку!»

Не глядя ни на кого, он зашагал в депо.

Макар крупно шагал по шпалам и все хмурился. Все глубже и глубже залегала упрямая складка меж тонких бровей. А утро было теплое, солнечное...

Вдоль депо сновали вагонетки, стремительно пробежала моторная дрезина, несколько рабочих чинили поворотный круг, с грохотом повертывая «стрелу».

— Видели, как угораздило? — спросил у Макара рассыльный Давыдов, кивая головой в ту сторону, откуда шел парторг.

Макар отмахнулся и молча прошел в депо.

Начальник депо «успокоил» Макара:

— А мне Столешников уже написал объяснение. Ничего. Все как следует быть, обойдется...

Написать объяснение — значило свалить вину на другого. Часто бывало так, что заведомо виноватый машинист — формально оказывался прав, а какой-нибудь стрелочник, не сумевший как следует объясниться, попадал под суд. Эта традиция осталась в наследство от времени Министерства путей сообщения, где в первую очередь признавали форму...

«Стрелочник виноват» — стало поговоркой, а машинисты изощрялись в сочинении объяснений.

— Значит не виноват он, как ты думаешь? — спросил Макар.

— Я? — начальник чуточку смутился. — Пожалуй, не виноват. По инструкции правильно, а в нашей работе как на военной службе — инструкция первое дело...

— Значит, формально прав?

— Прав.

— А по существу?..

Начальник развел руками.

— По существу это безобразие, товарищ Никитин!.. Мы сегодня еще поговорим с тобой об этом. На бюро поговорим...

Выйдя от начальника, Макар пошел бродить по станционным путям.

Сзади предупреждающе загудела паровозная сирена. Макар сошел с рельс в сторону. Его нагонял паровоз. Молоденький машинист, высунувшись из будки, улыбнулся Макару.

— Добрый день, товарищ Канычев!

— Здравствуй... — весело ответил Макар. — Останови-ка своего коня. Проедусь немного...

II

Костя Мальцев приехал с «учеником» около девяти часов вечера. На площадке, возле дежурной комнаты машинистов, комсомольцы играли в волейбол. Мяч резво подпрыгивал от быстрых толчков.

— Сыграем, Костя? — крикнул кто-то из комсомольцев.

— Тороплюсь.

— Поспеешь, никуда не уйдет...

Машинист отмахнулся и пошел в «душевую». Оттуда он вышел посвежевшим, с мокрыми волосами.

Вечер уже догорал. В золотистых переливах курился легкий дымок отдыхающих паровозов.

Переодевшись и наскоро пообедав, Костя отправился в сад.

Любу Иоффе он встретил около цветника. В белом легком платье она казалась выше ростом. Волосы, которые на работе девушка прятала под косынку, были заплетены сейчас в косы и двумя ручьями стекали по плечам.

— Я тебя встретить хотела, — сказала Иоффе.

— Ты — молодец!.. — ответил Костя. — А знаешь, кто со мной ехал сегодня?

Люба вопрошающе посмотрела ему в глаза.

— Канычев. Новый парторг. Замечательный человек! «Не возражаете, говорит, механик — я с вами поеду?» — «Пожалуйста»! И поехали... Ну, это я тебе скажу, — человек. Он всю гражданскую на фронтах был. Бронепоездом командовал... И не задается, — простой такой.

— Я его видела.

— Понравился?

— Симпатичный...

— Шапкину далеко до него... Обещал мне бригаду целиком комсомольскую сделать, и, понимаешь, будет у нас паровоз красота!..

— А мы — поезд голубой организуем! — закинув назад косы, сказала Иоффе.

О «голубом поезде» Люба мечтала давно. Она была с причудами, эта девушка. Бывало, зимним вечером, оторвавшись от книг, затормошит отца:

— Папа, я вот все думаю — при социализме все города будут большие и светлые. Много стекла. Много зелени. И пусть — много солнца... А люди в светлых платьях. Верно? Потому что людям будет радостно. Да?

— Угу, — мычал отец.

— Трамваи, автобусы и поезда будут тоже светлые, блестящие. Верно?

Старик Иоффе кивал головой.

— Вокзалы же...

В ней слишком много было радости и свежести. Ей хотелось, чтобы жизнь была прекрасной и яркой.

Работая проводницей вагона, она заслужила похвалу начальства. В ее вагоне была безупречная чистота, и пассажиры удивлялись ее порядку. А Люба радовалась этому, и ей мечталось сделать еще что-то радостное и хорошее.

Вопрос о «голубом поезде» был поднят даже на комсомольском собрании. Сначала к нему отнеслись недоверчиво: «Не время еще, мол, этим заниматься»...

Но девушка говорила страстно и убедительно.

— Ну, ребята... Ну, почему же не время? Такая жизнь. Она, понимаете, требует!..

И в конце концов собрание поддержало ее мысль.

Пошли к начальнику вагонных мастерских. Начальник, прищурившись, оглядел комсомольцев, и, выслушав их, устало отмахнулся:

— Глупости вам в голову приходят. Не разрешу...

Он уткнулся в бумаги и с нарочитой серьезностью стал читать их.

— Каждый день, товарищ начальник, — сказала Люба, выступая вперед, — ездят на поезде рабочие. Туда и обратно. То-есть на завод. В грязных вагонах, в неуютных коробках. Так? И вот мы подадим им состав. Это будет — голубой. Голубые вагоны с белой каемкой... А внутри...

— Бросьте, ребята, городить ерунду. И так народ ездит. Потом, что это — балаган что ли, чтобы расписывать?.. «С белой каемкой» — передразнил он...

Ушли ни с чем. Но Люба продолжала жить мечтами о красивом голубом поезде...

— А знаешь, — сказал Костя, — я рассказывал Макару об этой затее и он обещал замолвить словечко у Эса.*

— Серьезно?

— Да, да...

— Ой, как бы это было хорошо!

По аллеям ходили парочки. Некоторые из встречных молодых ребят здоровались с Костей.

Люба чувствовала приятное тепло его сильной руки и была счастлива.

Их дружба началась ранней весной и хотя уже было ясно, что она перешагнула границы обычного товарищества — о любви между Костей и Любой еще ничего не было сказано. Да и надо ли было говорить?

В аллеях горели разноцветные фонарики, пахло клейкими листьями лип и тополей, звенел смех, играла музыка...

Они танцевали на круглой площадке, в толпе таких же молодых и счастливых людей. Стреляли в тире. А когда в парке все кончилось, они все-таки еще не пошли домой... Им захотелось побродить вдвоем.

...И они пошли по насыпи. Под их ногами сухо хрустел серый крупнозернистый песок, вправо чернела Клязьма, влево — лежал сонный городок. Люба тихонько запела:

«Я знаю счастье—светлое, как день.
Я знаю нежность—чуждую пристрастья.
Как хорошо дышать во имя счастья
И в жизнь лицом склоняться, как в сирень».

«Это она для меня поет, — думал Костя. — Вот так бы итти и итти. Чувствовать рядом ее, любимую, лучшую из всех...»

Было тихо. Кто-то ехал на лодке по реке и звучно шлепали весла... Пахло мятой, полынью и вяжущим соком ивняка...

— Я иногда думаю, — мечтательно сказала девушка, — вон сколько звезд... И может быть на какой-нибудь из них сейчас такая же ночь ясная, ясная. Тепло. Река течет, чуть шелестят листья на деревьях и парень с девушкой идут по насыпи. Как ты думаешь, любит он ее?

— Эх, Люба, как он любит ее! Больше всего на свете любит!..

— Правда?

— Честное слово.

— Как хорошо. Знаешь, и она его...

Впереди показалась фигура человека. Звякнуло железо.

Человек шел навстречу. Когда он поравнялся, в руках у него можно было различить длинные прутки удилищ и жестяной котелок. Рыбак был высок и сутул.

— Шапкин удить пошел. Рассвет скоро, — сказал Костя.

И будто в знак согласия упала зеленая звезда, прочертив светлый путь по синему небу.

* «Эс» или «С»—условное наименование начальника станции.

★

Макар любил бывать на паровозах, в ремонтных мастерских, в дежурке, везде, где можно было встретить людей, поговорить с ними, вызнать, чем они живут...

Однажды он заглянул на паровоз к Косте Мальцеву. Паровоз стоял в резерве и машинист мог бы отдыхать, но Костя возился в будке. Он тянул к манометру электрические провода.

— Что это? — полюбопытствовал парторг.

— А это, видишь ли, динамо-моторчик маленький на складе валялся. Без нужды. Забыли о нем. А я его приспособил...

Он стал объяснять:

— Вот здесь привод. Устройство простое — будем иметь ток. В будке — электрическое освещение. Ато ведь у нас керосиновыми коптилками освещено.

Костя Мальцев произвел на Макара хорошее впечатление...

«С душой, — радостно отмечал Макар. — Вот чего нехватает многим. Дома у себя они и полочки, и вешалочки, и всякую дребедень изобретают, а на работе с казенщиной — это, мол, не наше дело».

— А вы, товарищ Канычев, с Эсом не разговаривали? — спросил Костя.

— О чем?

— А помните, я вам насчет «голубых вагонов» рассказывал...

— Поговорю, непременно поговорю...

Подружился Макар и с начальником депо. Но спокойный медлительный Никитин иногда раздражал парторга своей неповоротливостью. Парторг укорял его.

— Я ведь знаю, — ты трусишь. Ты заставляешь машинистов объяснения сочинять... Балуешь их, товарищ Никитин.

— Это, Канычев, сто лет назад привилось.

— А ты сломай.

— Лбом стену не прошибешь...

— Глупости говоришь! Просто успокаиваешь совесть свою. Смотри, Никитин, маленьких неприятностей бояться — можно больших нажить.

— Напророчишь!

— Нет, ты серьезно подумай, — какой ты начальник, если позволяешь прохвостам обманывать себя!

— Как тебя понимать?

— Да не прикидывайся младенцем. Возьми, пожалуйста, историю со Столешниковым.

«Вот привяжется, — думал Никитин, — покою не даст».

Покой он ценил выше всего, но чем больше стремился к нему, тем беспокойнее складывалась его жизнь.

— Мне комсомольцы интересную штуку рассказали, — заявил Макар, — хорошую штуку...

И он передал Никитину все, что знал о затее с «голубыми вагонами».

— Как ты смотришь на это?

— Да разве с нашими работниками можно такое? Они старые-то вагоны калечат. Вот кабы собрать настоящий народ!.. Знаешь, какие машинисты были, — артисты! Они машину-то насквозь видели.

— А где же они?

— На пенсию сняли... Устарели. Если бы вернуть их — вот пошли бы дела-то! Мировые!..

Но он сейчас же испугался этой мысли и добавил:

— Впрочем, музыка канительная, из гробов поднимать не стоит.

Года два-три назад комиссия от управления дороги провела обследование машинистов от сорокапятилетнего возраста и старше. И хотя эти машинисты чувствовали себя еще достаточно бодро, — им посоветовали уйти на пенсию. Старики обиделись, поговорили и ушли... Они поняли так: вы, дескать, нам больше не нужны...

Никитин вспомнил о них просто так, без всяких намерений, но Макару понравилась эта мысль о привлечении стариков и он решил созвать их хотя бы для участия в производственном совещании...

*

Двадцать второго июня в газетах было опубликовано обращение московских машинистов к железнодорожникам Советского союза.

Они предлагали организовать всесоюзное соревнование паровозных бригад.

После заседания парткома, обсуждавшего вызов москвичей, парторг задержал Шапкина.

— Я вот думаю, Коля, старых машинистов для совета привлекать, пенсионеров. Сейчас это нам очень пригодится. Ты не думал над этим?

— Не думал... И не буду.

— Да ну?..

Это восклицание обидело Шапкина.

— Катись от меня, — грубо сказал он. — Нечего смеяться! Тебя прислали — ты и думай!..

Макар посмотрел ему вслед и, качая головой, подумал: «Тяжелый парень».

Ему сделалось неприятно, и как-то сразу почувствовалась усталость. В эти дни он много работал в парткоме, кроме того, дома каждый день занимался — читал «Курс паровозов», и сейчас захотелось отвлечься, не думать об этом... Просто выйти, пройтись по улицам, освежиться. Он пошел к городскому саду — там еще играла музыка.

Пахло накаленным за день асфальтом и свежими листьями тополей. Из-за угла, навстречу ему, вышла девушка. Судя по походке, она была молода и стройна.

— Добрый вечер, товарищ Канычев!..

Он узнал проводницу Иоффе и ответил:

— Добрый вечер, Люба!

— Я думала, товарищ Канычев все сидит, все читает, а вы, оказывается...

— А я — гуляю!.. — оживленно ответил парторг.

— Один?

— И ты одна.. Возьми в попутчики.

— Идет! Только я уж домой собралась...

— А я провожу.

— Хорошо. Ато мой провожатый в поезке, — засмеялась Люба.

Они шли по притихшим уличкам. Болтая о пустяках, Макар ловил себя на том, что ему приятна эта болтовня.

Около калитки несколько минут постояли. И сам не зная зачем, Макар вдруг начал рассказывать о себе, о своей прежней жизни, о войне, о детстве...

Рассказал, что детство свое провел в Сормове, на берегу Волги. Подростком работал на судоверфи. Вошел в революционное движение, потом попал на фронт...

Рассказал о том, что в свое время был он женат на маленькой, бойкой, легкомысленной учительнице. Жил с ней без радости, и в конце концов она ушла от него с молодым инженером...

— Вы так не будете жить, — сказал он, намекая на ее дружбу с Костей. — Вы одинаково хороши, у вас одни радости и печали, одни интересы, а это, Люба, — основное.

— Костя хороший...

— Мне он тоже нравится, — улыбнулся парторг.

— А вы ведь еще молодой...

— Жениться думаю... — пошутил он.

...Потом он долго бродил один. В слободке пахло левкоями, гвоздикой и табаком.

Домой Макар вернулся уже на рассвете, но спать не хотелось. На душе было радостно и светло.

Он распахнул окно.

Прямо перед ним розовое небо дышало утренней свежестью.

В тишине утра в соседней слободке заиграл пастух.

Простая, бесхитростная мелодия была полна самобытной прелести.

— Ведь здешние рожечники славятся, — вспомнил Макар. И без связи добавил уже вслух:

— А погулять иногда полезно...

III

Есть в рабочей слободке маленький домик, крашеный сиреневой краской, окруженный резным палисадом. Когда-то и сюда заглядывал старый рассыльный Давыдов.

Подойдет, бывало, скажет:

— Доброго здоровья, Андрей Николаевич...

— К поезду? — спросил хозяин.

— К экспрессу.

Теперь же Давыдов проходит мимо. И глядя ему вслед, старый хозяин тяжко вздыхает.

«Вот и жизнь прошла, Андрей Николаевич», — думает он.

Догорает закат. В его последних отсветах оранжево пылают подсолнухи.

Возле низенького крылечка качаются розовые мальвы.

...Несколько минут назад с крылечка сбежала дочь. Стройная, смуглая, в белом легком платье, она прошла меж цветов по садовой дорожке.

Скрипнула калитка.

Ушла.

Ее ждут такие же семнадцатилетние подруги.

— А ты, Андрей Николаевич? — мысленно говорит себе старый хозяин, — кто ждет тебя? За тридцать лет работы ты проехал на паровозе четыреста тысяч верст. Ведь это же десять раз вокруг света!

Двадцать шесть лет назад, когда родился первый ребенок, ты мечтал о том, что хорошо бы дослужиться до машиниста первого класса, водить скорые поезда, хорошо бы выстроить домик и развести цветничок.

Что ж, скорые ты водил, домик у тебя есть. В палисаднике пахнет левкоями. А что дальше?

...Два года назад машинист Андрей Николаевич Иоффе ушел в отставку. Все, к чему он стремился, у него было. За тридцать лет добросовестной работы он заслужил право на отдых.

В последний раз он поставил в депо паровоз два года назад, после решения комиссии... Как всегда, деловито вымылся после поездки, сдал дежурному рапорт и ушел совсем.

Он зажил спокойной жизнью. Пенсии хватало с избытком, к тому же были кое-какие сбережения на «черный день».

Когда-то большая семья Иоффе распылилась. Двух старших дочерей выдали замуж перед самой смертью старухи, сына убили в двадцать девятом году в Манчжурии, и с Андреем Николаевичем осталась любимая, вылитая в мать — Любанька.

Каждое утро старик выходил в палисадник и копался с цветами. Его мальвы удивляли соседей редкостной величиной розовых чашечек.

Но Иоффе чувствовал тоскливую неудовлетворенность.

— Вот и жизнь прошла, Андрей Николаевич, — говорил он себе. — Прошла, брат, и не вернется. И так глупо прошла! Ведь вот ты отвез миллионы пассажиров, тысячи людей встречали поезда, которые ты вел, но кто знает, кто помнит, что есть на свете машинист Иоффе?

Ему вдруг стало удивительно жаль прошлого.

Если бы вернуть жизнь, если бы можно было начать ее снова, Андрей Николаевич многое сделал бы иначе!..

В этот вечер он долго не мог уснуть. Слышал, как в первом часу вернулась Любанька, хрустела свежим огурцом, ужиная наспех, и вспомнил, что сегодня он не ужинал, изменив укоренившейся привычке.

Утром проснулся с таким чувством, словно кто-то его обманул, что-то он потерял, чего уж никак не найти.

Это состояние не покидало Андрея Николаевича несколько дней. Чтобы отвлечься, он собрался на реку за рыбой. Просидел полдня, поймал двух ершей да уклейку и забыл их вместе с ведерком на берегу.

Однажды, когда на сердце было особенно нехорошо, к сиреневому домику подошел старый рассыльный Давыдов.

Иоффе сидел за чаем.

— Вот и опять к вам, Андрей Николаевич, — сказал Давыдов, подавая открытку.

— Ко мне уже отходили, — грустно ответил машинист.

— Нет, папа, это тебе, — сказала Люба, пробежав глазами написанное.

Андрей Николаевич оседлал нос очками и прочел коротенькое послание:

«Дорогой Андрей Николаевич!

Наше депо вступает во всесоюзный конкурс паровозников. Дело это большое и добиться победы нам будет трудно. Вы, отдавший всю свою жизнь транспорту, имеете большой опыт и можете нам помочь деловым советом. Поэтому парторганизация депо приглашает вас на совещание, имеющее быть в 7 часов вечера 27 июня с. г.

Парторг депо Канычев.»

Андрей Николаевич потянулся за чаем. Хлебнул большим глотком и обжегся. Рассердившись, заворчал:

— Ну, вот и старик понадобился. Отдохнуть спокойно не дадут.

Но в душе ему было приятно, что о нем вспомнили и хотят послушать его совета.

*

В четвертый раз собирал Макар паровозников и уже привык к этому народу. Он знал, что Николай Шапкин придет и молча, насупившись, сядет в углу. Никитин, поглаживая седые усы, будет всем поддакивать, а Костя Мальцев, как всегда, горячиться...

«Придет ли? — думал Макар об Иоффе. — Может, пустая затея?»

Но Иоффе пришел. Ради такого случая он надел форменный китель и фуражку, на которой еще остался след от двух белых, серебряных кантиков.

Встретили его приветливо. Андрей Николаевич знал тут всех. Многие из машинистов ездили с ним помощниками, и он обучил их высокому искусству управления машиной...

Когда открыли совещание, машинисты говорили о своих паровозах, об угле, о маршрутах, о происшествиях последней недели. Иоффе чувствовал некоторую отчужденность — ему не о чем было рассказать... Однако, слушая, он радовался иногда, когда его бывший ученик выступал здесь как зрелый, серьезный работник — в каждом из них он угадывал частичку своего характера, своих стремлений и даже привычек...

Слово взял машинист Столешников.

Андрей Николаевич улыбнулся ему и чуть-чуть расправил плечи, словно он сам стал на место оратора. Кто-то зашумел в задних рядах. Иоффе сердито сдвинул брови — послушайте, мол, пожилого человека.

Столешников, прежде чем начать свою речь, откашлялся, вытер рот платком и шевельнул тараканьими усами.

— Двадцать пять лет я работаю на паровозе. Вот в президиуме сидит мой старый сослуживец Иоффе, наш дорогой и уважаемый...

Андрею Николаевичу было очень приятно это упоминание. Правда, когда Иоффе работал, он не дружил особенно со Столешниковым, но сейчас вдруг помирился, вычеркнул неприязнь и даже поверил, что Столешников действительно был его товарищем.

— И эти двадцать пять лет дают мне право заявить о том, что мы устали от соревнований и конкурсов. Ведь это футбол, а не работа...

Иоффе поднял на оратора недоумевающие глаза. Что с ним? Зачем он это говорит?

И как бы отвечая Андрею Николаевичу, Канычев шепнул ему на ухо:

— Неделю назад подшипники сплавил, а перед этим вагон разбил... Самая модная фигура в происшествиях...

— Ах, дорогие товарищи, — продолжал Столешников, — часто я думаю — нет ничего роднее для нас, как советская власть, рабочее правительство... Душу для них отдать мы готовы. Но чего нельзя, того уж никак невозможно. Скажем, из железа воду не выжмешь, а тут молодые товарищи хотят из наших калек, из паровозиков еще чего-то выжимать. Нельзя! Инженеры, ученые люди и те говорят — нельзя, норма. А мы все таращимся, все обмануть себя хотим... Ничего не выйдет из этого. Были бы новые паровозы, как в Америке, тогда бы другое дело... Вот товарищ Иоффе, Андрей Николаевич, скажет...

«Зачем он меня приплетает? — думал Андрей Николаевич. — Подумаешь, в свидетели призвал!..»

Когда Столешников кончил, Мальцев насмешливо и внятно сказал:

— Концерт окончен!..

Макар взглянул на Иоффе. Парторгу хотелось, чтобы сейчас сказал свое слово гость. И, поняв это, Андрей Николаевич поднял руку.

— Насколько я помню, мы не были товарищами со Столешниковым и видно не станем ими, — начал Иоффе.

Дальше все забыл, что говорил. Он даже не мог вспомнить свою речь. В памяти остались аплодисменты, крепкое рукопожатие парторга, да глубокое смущение после того, как товарищи поздравляли его с возвращением...

Он даже не понял, почему парторг, этот совершенно незнакомый человек, стал неизмеримо ближе Столешникова, которого он знал десятки лет.

Он даже не разобрался толком, как это вышло, но, придя домой, отыскал и починил дорожный саквояжик и вынул из гардероба рабочий костюм.

*

Из тумана вставал рассвет.

На дальних путях перекликались маневровые паровозы, еще невидимые во мраке. Но уже гасли станционные фонари, звезда — предвестница утра — бледнела над семафором.

На рельсах были капельки росы.

Через сорок минут отходит скорый. Его поведет «Л-42»*. Около паровоза хлопочет машинист. Он гремит ключами, подтягивая крейцкопфный вкладыш. К машинисту подходит Столешников.

— Все-таки вернулся? — спрашивает он и, язвительно усмехаясь, бросает обидное слово: — Подделываешься!

Машинист никогда не «подделывался». Он честно прожил большую жизнь. На его висках блестит седина. Он уже устал, он испытал все, но его никто не упрекал в этом.

— Вернулся... — говорит Иоффе. Он хочет ответить на обиду и вдруг понимает, как мелок, как ничтожен этот человек. Он ничтожен своим бессильем, и вместо колкости Андрей Николаевич отвечает ему простой, обыденной фразой:

— Вернулся работать на свой паровоз.

Иоффе заходит вперед паровоза и с помощником любуется красной лентой с коротким лозунгом — «За победу в соревновании». Лента наискосок опоясывает котел. «Л-42» открывает сегодня соревнование паровозных бригад.

Из депо торопливой походкой идет Макар Канычёв.

Андрей Николаевич улыбается ему.

— Ни свет, ни заря. Рано вы поднялись.

— Я привык, — отвечает парторг. — А как вы себя чувствуете?

Как чувствует он себя? Хорошо!

Андрею Николаевичу хочется рассказать, как беден бывает человек в одиночестве и как окрыляет его движение коллектива. Он хочет, чтобы Макар понял, как, несмотря на морщины, избороздившие лоб, несмотря на старость, сверкнувшую сединой, — к человеку возвращается молодость.

Но слов, чтобы передать все это, нет и Иоффе говорит другое:

— Любанька моя удивилась. Чудить, говорит, на старости лет выдумал...

— Андрей Николаевич, под поезд пора! — кричит дежурный.

— Ну, счастливо! — Макар жмет руку. — Счастливого пути!

На станции Иоффе получает путевку и дает свисток отправления.

Поезд вышел за семафор. На переезде толпились люди и какая-то девушка, босоногая, загорелая, сорвала с головы голубой платок и приветливо замахала им навстречу паровозу.

---

* «Л» — тип быстроходного пассажирского паровоза.

Андрей Николаевич повернулся к помощнику и, волнуясь, сказал:

— Она начинается снова.

Помощник не понял, о чем говорит машинист, и промолчал. Но Иоффе был счастлив. Он говорил о ней, о единственной и бесконечно желанной, — о жизни.

*

Макар и Никитин глядели вслед паровозу. Вот он прошел семафор, вот, чуть замедлив бег, прогрохотал по мосту и нырнул в рощу...

Только дымок сероватым облачком кудрявился над яркой зеленью. Потом пропал и дымок.

— Пошли, — сказал Никитин.

Макар взял начальника под руку и счастливые, улыбающиеся они медленно пошли к мастерским.

На пути стоял паровоз. Закопченный, грязный он походил на оборванного нищего. По кожуху цилиндров, шипя, текло масло. Медные пояса на котле тускло желтели...

«Хозяин» паровоза Столешников стоял тут же рядом и что-то рассказывал путевым рабочим, подбивавшим шпалы на соседнем полотне.

— О чем вы? — спросил Макар, подходя к ним.

— Нам есть о чем рассказать, слава богу, не первый десяток езжу... — ответил Столешников.

Он медленно вытер руки пучком пакли и, отбросив его в сторону, продолжал:

— Вам, товарищ, не знакома наша работа, но все же хочу спросить...

— Да? — Макару было интересно, что может спросить Столешников.

— Вот что объясните, товарищ Макар: бывало машинист чувствовал свое достоинство. Придет на поездку — важность у него, представительность. На станции — буфет первого класса, рюмочку очищенной... Я, конечно, пьянство не уважаю, но это, дорогой товарищ, не пьянство, а престиж... Да, машинист чувствовал внимание к себе, уважение. Он козырем шел!

— Тузом?.. — насмешливо сказал Макар.

— ...А теперь машинист последнее лицо, — продолжал Столешников. — Какой-нибудь кочегар, или, того хуже, костыльщик — в ударниках, в красных списках, на красных досках и выше механика ставит себя... Почему? — Машинист, прищурившись, посмотрел в лицо парторга.

— Вот оно как... — протянул Макар. Он смотрел, как мазут капельками стекал по кожуху цилиндра, закипая и шипя.

Столешников торжествовал.

— Вам это в новинку слышать, а мы это сами все прошли!

— А вы паровоз-то все-таки оботрите, — сказал парторг спокой-

но, словно и не слышал того, что рассказывал Столешников.—Машинист старый, а паровоз у вас грязный... Козыри растеряли!

Путейцы громко захохотали.

Парторг крупным шагом пошел прочь. Столешников растерянно глядел ему вслед.

— Отбрил. Паровоз-то, говорит, оботрите!..

— Козыри растерял...

— Прямо в глаза он тебе, Федор Александрович!..

Столешников обиделся.

«Меня—старого машиниста перед несчастным мужичьем, перед путейцами, оскорбил? Ну, ладно, я тебе отблагодарю за это, — думал он. — Попомнишь меня. Я тебе не Иоффе, подлизываться не буду!..»

В свое время Столешников мечтал об иной жизни.

Он не отличался особой прилежностью в работе, но зато знал, когда бывают именинниками начальник тяги, его супруга, как поживают их детки. И может быть поэтому двигался по службе быстрее других.

Вне очереди получил он маневренный паровоз, вне очереди поехал с пассажирским.

Дослужился даже до «обера», и уже заветной мечтой была форма начальника депо. Он даже сшил себе новый китель, в котором выйдет на службу в первый день назначения. Среди товарищей он не пользовался симпатией.

В первую очередь он заботился о том, чтобы начальство примечало его старания. Узнав, что новый начальник тяги богомолен, Федор тоже зачастил в церковь и даже таскал хоругви во время крестного хода.

И быть бы ему начальником, если бы не было революции.

Федор принял ее безрадостно. Правда, в дни Временного правительства он пел Марсельезу, носил красный бантик в петлице. Он даже записался в партию социалистов-революционеров, но Временное правительство, оказалось чересчур временным, а Октябрьский переворот Столешников принял совсем враждебно.

Сначала он верил, что это ненадолго, любил слушать предсказания о том, что все поворотится, и даже сам придумывал обстоятельства крушений советской власти. Наконец понял он, что жизнь идет по-новому и о каком бы то ни было возврате к старому не может быть и речи.

Вместе с этим он понял, что ему не быть начальником.

Столешников покорился. Но покорился он только внешне, затаив жгучую обиду на тех, кто помешал ему сделаться господином начальником.

Он ненавидел молодежь за то, что она перерастала его.

Из «оберов» за частые аварии его сняли и поставили на маневры. Это было обидно, но машинист говорил:

— Ладно, пускай. Мы свое поездили... Ведь и лошадь, покуда она молода—и ласку, и заботу получает, а состарилась — на живодерню ее... Мое дело маленькое, я в выскочки не тянусь!..

IV

Поодаль от депо стоит двухэтажное белое здание. Фасад его сплошь заклеен плакатами, объявлениями, сводками работы ремонтных мастерских, графиками выполнения измерителей.

В нижнем этаже — контора нарядчика паровозных бригад. Одна стена ее занята огромным щитом, разграфленным на клеточки. Против каждого ряда клеток выписаны фамилии машинистов и помощников. Здесь, на этом щите, контролируется работа паровозников. Посмотрит нарядчик на свой щит и видит, кто из машинистов в поездке, когда и с каким поездом уехал, когда вернется, кто в резерве, кто отдыхает...

А вверху во втором этаже — дежурная комната, «брехаловка». Кто, когда дал ей такое название — неизвестно, но где бы вы ни были, в какое бы депо ни заглянули, — спросите «брехаловку» и вам безошибочно укажут на дежурную комнату машинистов.

Охотник в шалаше, машинист в дежурке — одинаково горазды врать. В «брехаловке» можно услышать самые невероятные рассказы. Там всегда шумно, тесно, накурено и жарко.

Во всякой дежурке есть своя легендарная личность — машинист, который давно умер, но которого за «геройство» поминают в рассказах.

— А как ездил Митрий Прокофьич! — начинает кто-нибудь, — вот ездил... Разве теперь ездят так?.. К примеру: поругался он както с начальником станции Рузаевка и такая у них пошла канитель, что беда... Вот едет он с экспрессом...

И пойдет история о том, как Дмитрий Прокофьич капусту в огороде паровозом измял, как быстро ездил он: высунет палку из будки, а она словно по частой городьбе — по телефонным столбам затрещит...

В «брехаловке» можно услышать всякие новости, можно посплетничать, заглаза поругать начальство...

Костя Мальцев вернулся из поездки возбужденный, радостный. В списке соревнующихся бригад, вывешенном на южных воротах депо, его паровоз занимал третье место. Впереди шли только Стрелков и Иоффе. Даже Николай Шапкин, который считался неплохим машинистом, был позади Кости. Ему захотелось заглянуть в дежурку — наверное говорят о его победе. А это волнует и радует.

В дежурке первым его встретил Столешников.

— А-а, молодому человеку, — сказал он, — Константину Владимировичу!..

Костя улыбнулся. Ему было приятно, что его назвали именем и отчеством.

В дежурке было много народу — несколько своих машинистов, трое отдыхающих машинистов из депо Горький...

— Вот, — продолжал Столешников, — самоотверженная какая молодежь пошла. За идею всем жертвует... Просто приятно смотреть. Возьмите этого молодого человека, — обратился Столешников к бывшим в дежурке, — он на третье место вышел. Любовь свою пожер-

твовал, а — вышел. Его Любочку партийный организатор теперь обхаживает, товарищ Канычев.

— Не трепись! — оборвал Костя, краснея. — Чего болтаешь!..

— Сам видел. Под ручку ходят... Канычев-то воробей стреляный. Он разлимонивать не будет.

— Говорят, он уже с тремя развелся, — поддакнул кто-то.

— Уверять не могу, но возможная вещь. Ему что, пожил в одном месте — в другое перелетел...

— Ты это брось, — сказал Костя, — брось, Столешников, — этим не шутят!

Но про себя подумал: «Напрасно зашел. Лучше бы в другой раз». Он с ненавистью взглянул на Столешникова, а тот с усмешечкой продолжал:

— Зря, Константин Владимирович, сердишься. Я это тебя жалеючи говорю.

— Отстань, а то я тебя так пожалею, что и своих не узнаешь!

— Ой, страшно! — крикнул Столешников.

— Брось, тебе говорю! — Костя сжал кулаки и почувствовал — еще одно слово и он ударит Столешникова.

Тот промолчал, закуривая.

«Неужели правда?» — думал Костя, выходя из дежурки.

— До сердца дошло! — усмехнулся Столешников. — А я, грешник, люблю. Ей богу. Любя и сказал-то. А то какое мне дело?..

— А машинист-то он видно толковый, — сказал кто-то из горьковцев.

— Ну, толковый, — отмахнулся Столешников, — так себе. Вот я бывало ездил, не хвалясь скажу — образцово!..

Под окном кто-то крикнул: — Столешников!

— Чего это привычка у людей — горло драть? Нет того, чтобы благородно сказать. — Он неспеша подошел к окну: — Ну чего орешь?

— Твой паровоз в баню повели!

— Врешь? — степенность Столешникова сразу исчезла. Он воровато оглянулся на бывших в дежурке машинистов.

— Честное слово — в баню!

— А ты дурак и рад этому.

— Вот это образцово! — протянул кто-то и громко засмеялся.

— Я знаю, чьи это штучки, — закричал Столешников, — я сейчас пойду всех к чортовой матери с паровоза погоню...

★

Яркий сверкающий полдень. Около депо стоит паровоз. Но не машинисты около него, не бригада, — паровоз облепили женщины. Шутя и смеясь, они плещут воду на лоснящиеся бока котла, трут мочалками крышу дымогарной коробки, скребут тендер...

— Бабы, чище, чище! — кричит Лена Шапкина, — чище, бабы...

— Ой, грязи-то, — слышится голос из будки, — хоть корзинкой выноси.

Это называется «баней».

Когда нерадивый механик запустит машину, когда с болью видят сослуживцы, что паровоз обрастает грязью, а на хозяина не действуют ни приказы, ни уговоры, тогда устраивают его паровозу «баню»...

Жены железнодорожников из слободки, вооружившись мочалками, приходят мыть паровоз.

Такая «баня» — позор для механика.

...Столешников стоял в стороне и плевался.

— Уйдите, — кричал он, — уйдите, чортовы дети!..

— Не ругайся, Федор Александрыч, — мы тебе его вот как отполируем, как новый будет, — отвечала ему с паровоза жена Шапкина.

— Сам очищу... Без вас обойдусь.

— Чище, чище, бабы... — покрикивала Шапкина Лена.

Солнце сияло на отполированных медных частях, переливалось радугой в брызгах, и лица женщин были возбужденно радостны...

«Дожил, — думал Столешников, — довели, что бабы на паровоз влезли. А? Да что же это такое? Машинист я или нет после этого?»

Он не винил себя. Нет, виноватыми были «они»...

Парторг пришел веселый, смеющийся.

— Ну как дела, товарищи?

— Дела идут.

— А почему, товарищ Канычев, нет женщин в машинистах? — спросили его. — Разве бы мы дали так запакостить машину?

— Товарищ партийный организатор, я требую прекратить это! — заявил Столешников. — Я обращался к начальнику депо, он не прекращает, обращаюсь к вам, к идеологическому руководителю...

— А они сейчас кончат, — отозвался Макар.

...Уязвленный в самое сердце, Столешников все еще ругался вслед уходившим женщинам, когда к паровозу подошел только что вернувшийся из поездки Николай Шапкин.

— В баньку сводили? — спросил он.

Столешников не ответил.

— Ничего. Теперь паровоз чистенький стал.

— А ты, рябой чорт, — не выдержал машинист, — чем насмехаться, за бабой своей глядел бы. Как она тут выхаживала.

— Ну так что ж?

— Что ж? А ради кого старалась? Канычеву авторитет зарабатывала! Он тебя из комиссаров вышиб, а жена для него старается.

Выйдя за поворотный круг, Николай спустился с насыпи и пошел переулком в слободку. Здесь, вдоль городьбы, росли белена и полынь. Машинально он сорвал кустик и на ходу размахивал им, как плетью. На углу из подворотни выбежала маленькая лохматая собачонка и хрипло залаяла на него.

— У-у, дура, — крикнул Николай, — на своих лаешь!

Собачонка не унималась. Он нагнулся, делая вид, что берет камень. Собака с визгом шмыгнула в ворота. Николай поднял руку, чтобы поправить съехавшую на глаза фуражку, и ощутил горький запах полыни.

— Фу, гадость какая, — вслух сказал он.

Дома Елена собирала чай. Звенела чашками, сахарницей. За чаем она начала было рассказывать мужу о своем участии в мытье паровоза, но он оборвал ее:

— Зачем ты сунулась?..

— А что же? Я думала...

— Ду-умала, — передразнил он. — Думать-то тебе нечем...

Елена встала из-за стола. Высокая, красивая, еще не знавшая материнства, она стояла прямо, и обида, накопившаяся в ней, вдруг хлынула потоком горьких укоров.

— Николай, у тебя неприятности с Канычевым, но в чем виновата я?.. Я все молчала, все крепилась, но ведь это не вечно... Чего тут плохого? Дома-то ведь совсем закиснешь!

Николай не ожидал таких возражений и растерялся.

— И ты? Елена, и ты?.. Ленка, обидно мне!

Шапкин как-то обмяк. Он смотрел на жену, взволнованную, и, как всегда, острое чувство виноватости охватило его.

— Ну... Ну, я не буду... Погорячился немного я.

Неловко, неуклюжим жестом нежности погладил он ее гладко зачесанные волосы, сверкающие медным отливом.

— Николай, неужели ты не поймешь, как тяжело... Ты такой хмурый стал.

— Ну, не буду... Ладно уж...

Он попробовал улыбнуться, но улыбка вышла какая-то кислая, неживая. Однако, они все-таки помирились.

... Ночью Елена долго не могла заснуть. Муж лежал рядом, большой, ширококостный, и мирно, как ребенок, посапывал.

Она гладила его вьющиеся волосы, улыбаясь, глядела невидящими глазами куда-то в угол, где по висевшему платью, тихо струясь, текло серебро луны.

Николай открыл глаза.

— А? Ты что?..

— Спи, — тихонько ответила она.

Но сама еще долго не могла заснуть. Сегодня она твердо решила, что пойдет работать. Дома ей было скучно. И лежа в постели, Елена думала о своей будущей работе...

Только под утро сомкнула она глаза.

*

Оркестр играл какую-то легонькую польку. На танцевальной площадке кружились пары. Костя стоял, прислонившись к старой липе. Кора дерева была изрезана перочинными ножами...

Липа цвела и струила сладкий медовый запах.

«Как же так? — думал Костя. — Ничего я не замечал и вдруг... И сегодня ее нет. Почему не пришла?»

Мимо него проходили толпы веселой, смеющейся молодежи, он искал глазами Любу и не находил.

Она пришла с опозданием.

— Долго я? — спросила она, здороваясь с ним. — Знаешь, мы сегодня начали...

— Я тебя хочу спросить об одной вещи, — перебил он ее, глядя в сторону.

— Да?

— Тебе Канычев нравится?

— Конечно! Он такой, знаешь...

— Какой?

— Ну, хороший! А что?

— Ну и иди к нему, к хорошему! — грубо крикнул он и быстро пошел прочь. Люба ничего не понимала.

— Костя, — крикнула она.

Мальцев не оглянулся.

— Костя, постой...

Костя пошел в депо. Возле водокачки он встретил Канычева, разговаривающего со Столешниковым.

Макар был возбужденно весел.

— А-а, Костя! — крикнул он. — Дело выгорело. Будут у нас голубые вагоны. Сегодня приступили к отделке.

— Вот и хорошо, — буркнул Мальцев и, не останавливаясь, прошел мимо. Его даже это теперь обидело: «для нее постарался».

— Не в духе, — заметил Столешников, подмигивая парторгу.

— Это бывает, — улыбнулся Макар. — Ну, к домам пора.

Они пошли в сторону слободки.

... Столешников «умаслил» парторга. Он обещал «показать класс» езды.

— Вы думаете, Столешников бессознательный человек? — говорил он. — Я, товарищ организатор, шум не уважаю. Дай мне спокойно работать, и я горы сворочу!

— Посмотрим, посмотрим, — весело отвечал Макар.

Ночь дышала запахами трав и цветов. В вышине перемигивались зеленые трепетные звезды.

В слободке чей-то молодой чистый голос вел песню...

V

Пятого августа машинист Андрей Николаевич Иоффе ехал с товаро-пассажирским «№ 92». На одном из разъездов пропускали скорый, и, пока Андрей Николаевич осматривал свой паровоз, помощник побежал за цветами. Он принес целый ворох голубых васильков и желто-белых ромашек.

Было утро.

Обрызганные росой цветы, качая головками, улыбались светлому наступающему дню.

Помощник был молод и свеж. Паровозная копоть не могла скрыть мальчишечьей складки рта и восторженного блеска глаз.

— Цветов-то, Андрей Николаевич, за станцией ужасти сколько. Прямо ковер!..

Иоффе одобрительно кивнул головой:

— Я мальчишкой у деда на Оке рос. У нас тоже на лугах столько цветов, что и представить себе невозможно. А вот еще и шиповник цветет. Тоже хорошо...

Помощник убирал васильками левую сторону паровозной будки.

— Вот поедем, а я как в саду буду. От них веселее как-то.

Машинист спрятал в усы улыбку.

Наконец показался скорый. Он прошел, не останавливаясь на разъезде, ярко мелькнув радугой классных вагонов.

«Вот так, не останавливаясь, мчится и жизнь наша, — подумал Иоффе, — яркая, стремительная...»

Андрей Николаевич, вернувшись на работу, отдался ей целиком. Он забыл свой пестрый садик, свои розовые мальвы ради горячего бега машины.

Он проявлял исключительную заботу к своему паровозу, и машина отвечала хозяину четкой работой всех механизмов.

Когда скорый скрылся за семафором, дали отправление и «92». По привычке машинист взглянул на манометр и открыл пар.

Паровоз шел ровно, слегка подрагивая на стыках рельс. Андрей Николаевич мог бы вести его с закрытыми глазами — он знал этот профиль не хуже, чем свою жизнь. Все ему было знакомо — езжено и переезжено.

Иоффе искренне любил свою работу, находя в ней особую привлекательность. Он понимал каждый шорох и стук паровоза. В плавном размеренном шуме машины для него открывался целый мир.

Сознание гордости и могущества окрыляло его. Ведь ему вверяют свою жизнь, свою судьбу сотни пассажиров!

...Издалека показались дубовая роща, путевая казарма, а за ней большое белое здание станции.

За поворотным кругом, возле депо, толпились паровозы. Некоторые только что вернулись из маршрута, другие готовились под поезда, набирая пары, третьи стояли в резерве, на промывке.

Меж паровозов озабоченно сновали люди.

Закопченные ворота депо были распахнуты настежь и над аркой чуть-чуть трепетало красное полотнище плаката.

Иоффе увидал его еще издалека и спросил у помощника:

— Ай праздник нынче какой?

— Не знаю, — ответил тот.

— Чудак, раз комсомолец — значит, должен знать.

Гремя по стрелкам, паровоз входил на свою «домашнюю территорию». Подъезжая к депо, Иоффе еще раз взглянул на плакат и вдруг покраснел от неожиданности. На плакате было ярко написано совсем необычное:

ПРИВЕТ ЛУЧШЕМУ МАШИНИСТУ — А. Н. ИОФФЕ В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ

«Это что же — подшутить что ли вздумали?» — подумал он.

Но к паровозу шли Макар и еще несколько товарищей.

— Ну, юбиляр, как поездка? — кричал, улыбаясь, Макар.

Андрей Николаевич окончательно растерялся.

— Будет вам, — как-то нерешительно сказал он и захлопотал со сдачей паровоза, стараясь не обращать внимания на эту «комедию».

— А ты брось ломаться, Андрей Николаевич, — сказал Макар, — принимай поздравления.

Начальник депо передал Иоффе свежеотпечатанный на машинке приказ, в котором говорилось, что за образцовую работу и преданность делу машинист Иоффе премируется именными часами.

— Все было раньше подготовлено, ты, Андрюша, извини, что без предупреждения в твою жизнь въехали.... Часы, брат, хороши — по своим проверял... — отрапортовал Никитин.

Только тогда Андрей Николаевич понял, что это не шутка. Счастливый и растерянный стоял он среди друзей и, пожимая руки, все твердил:

— Спасибо, товарищи... Спасибо... Я этого ведь не ждал.

★

В первый день декады на воротах депо вывесили щит с новыми показателями работы паровозных бригад. В графе «экономия топлива» первой стояла фамилия Столешникова...

Около ворот толпились рабочие.

— Вот, — с удивлением разводил руками помощник Иоффе, — это же исторический факт!

— За ум взялся.

— Вот тебе и саботажник...

К рабочим подошел и сам герой дня — Столешников.

— Как жизнь, ребятишки? — с деланным равнодушием спросил он. — Как прыгается?

Все оглянулись. Казалось, Столешникову было безразлично — на первом или на последнем месте стоит его фамилия. Он даже с некоторым презрением взглянул на список передовых бригад. Некоторое время все молчали, но кто-то, не выдержав, громко, приветственно сказал:

— Молодцом, Федор Александрович!

Столешников усмехнулся.

— Здорово ты их, Федя, обставил.

— Я, — сказал машинист, — я не люблю трепаться. Мне марки не надо. Я не ударник, но пусть догонят меня...

— А если догонят?

— Этого не случится. Слабы.

— Иоффе нажмет.

— Н-ну, Иоффе! Из Иоффе песок сыплется. Его так, ради имени держат.

— Теперь, гляди, премию заработаешь.

— Я за премией не гонюсь. — Машинист презрительно сплюнул. — Не как другие!..

Из депо вышли парторг и Никитин.

— Приветствую! — крикнул Макар. Он подошел прямо к Столешникову и пожал ему руку. — Хорошо, товарищ механик.

Машинист улыбнулся уголками губ.

— Товарищ партийный организатор, разве я когда-нибудь работал плохо? Вы — человек новый, не знаете нашего положения, а меня затирали тут выскочки... Возьмите, пожалуйста, Шапкина — бешеный человек. Он с людьми не может обращаться...

«Это, пожалуй, верно, — думал парторг, — к каждому человеку свой подход нужен».

— Опять же, ежели над человеком измываться начнут, он в злобу входит.

— А на собрании, Федор Александрович, ты ошибся. Зря говорил: видишь, при ударной работе всегда ближе победа.

— Ну, кто старое помянет, тому глаз вон, — как по старой пословице.

— То-то! — Парторг похлопал машиниста по плечу и шутливо сказал: — Мы еще таких-то ли дел натворим! Так ли?

— Я работу люблю, — подтвердил Столешников.

— Товарищ Канычев, — сказал конторщик Живодров, вмешиваясь в разговор, — таких людей премировать надо. Вот где сознательность. Уж с ним ли не проделывали всяких безобразий, а он честно работает и работает. Другой бы на его месте плюнул. Естественное дело — конфликт личности с обществом.

— Какой там конфликт, — отмахнулся парторг, — а премировать действительно стоит... Что ты скажешь, товарищ Никитин?

— Да, да, — подтвердил начальник депо, — я конечно присоединяюсь...

VI

День за днем, день за днем...

Методично, как телеграфная лента, ползут дни.

Шестой год работает на полустанке Аркадий Алексеевич Пережогин. Голубоглазый мечтатель, что видел он за эти пять лет? Лишь тысячи скорых, товарных поездов, да миллионы лиц, мелькнувших лишь на мгновение и потому не запомнившихся...

Весной, когда за полустанком расцветает кустик желтой акации, а к ночи над степью встает розовая большая луна, когда в балке засвищут соловьи, Пережогин вспоминает, что ему всего тридцать четыре года и что на свете существует любовь. И тут, как на зло, как будто бы дразня его, в двадцать три двадцать проходит экспресс.

На минуту он перечеркнет полустанок яркими окнами международных вагонов, выхватит из мрака тоскующие глаза начальника и стрелой исчезнет за поворотом...

Но через час, вслед за скорым, идет «79», самый обыкновенный «ученик» с десятком ободранных вагонов. Он на целых три минуты останавливается около маленького перрона и словно говорит Пережогину:

— Брось, Аркадий Алексеевич, думать об экспрессе, лучше по-

гляди на меня. Ведь я такой же неказистый и серенький, как твоя жизнь...

Это была правда и, глубоко вздохнув, Пережогин смущенно давал поезду отправление. От торопил его. Ему были неприятны эти сравнения...

«Ученик» проходил мимо полустанка четырежды в сутки.

Сегодня, как обычно, в пятнадцать тридцать три Пережогин принял сообщение:

— Черемхово... Черемхово: «79» вышел...

— Понятно, — «79» принимаю...

Аркадий Алексеевич надел фуражку и вышел на платформу.

День был солнечный, яркий, через пару минут над рощей показался дымок и знакомый, надоевший голос паровозного свистка известил о том, что «79» подходит.

Приветливо взмахнуло крыло семафора и... Пережогин в первую минуту испугался, — очевидно произошла путаница, он принимает не тот...

— Вот это история! — присвистнул начальник и, как перед экспрессом, вытянулся и поправил фуражку.

Пережогин с удивлением смотрел на приближающийся поезд.

Голубой и сверкающий, он остановился около скромненького неказистого перрона и здание полустанка рядом с ним показалось убогим и жалким.

— Вот как мы стали ездить, Аркадий Алексеевич, — крикнула Люба и хвастливо махнула рукой на состав.

— А ведь я не понял сначала, товарищ Иоффе... Я думал — какой-нибудь правительственный идет...

Откуда-то на перрон высыпали ребятишки и, разинув рот, глядели на этот необычайный поезд.

Восемь новеньких светло-голубых вагонов стояли один к одному. Жарко горела медь дверных ручек, словно никеллированные блестели поручни и белые кантики окаймляли швы железных листов.

В распахнутые дверцы вагонов было видно, как меж темно-коричневых кресел лежала пестрая ковровая дорожка. На столиках белели свежие скатерти.

Пережогину хотелось задержать этот поезд подольше, но расписание не принимает в расчет настроений и душевных переживаний. Через положенные три минуты «79» ушел с полустанка.

Аркадий Алексеевич все глядел ему вслед и думал об этом чудесном превращении.

— Вот, — думал он, — дни за днями ползут как телеграфная лента. И вдруг вместо обычных точек и тире жизнь подходит к моему полустанку веселым голубым поездом. И кто знает, чем еще подойдет она...

И еще печальнее показался ему полустанок, грязная комнатушка — его «кабинет», покосившийся палисад под окном и несколько чахлых кустиков акаций...

— Как это должно быть неприятно...

Неряшливый, рыжебородый сторож сидел на полу и нещадно дымил махоркой.

— Да брось ты, пожалуйста, чадить, — крикнул Аркадий Алексеевич. — В станции грязи по колено. Стекла у ламп не чищены... И сам ты...

Пережогин оглядел неказистую фигуру сторожа, его заспанное помятое лицо. «Неряха какой-то»...

— Палисадник давно бы поправить надо...

— Ну, вот приспичило, — огрызнулся старик.

— Приспичит. Все люди стараются как бы почище, а у нас дыра-дырой...

«Надо цветов раздобыть да хоть клумбочку разделать, а осенью выкопать акацию. Посадим вишни», — думал он.

*

Лену Шапкину взяли старшей проводницей в голубой поезд. Здесь ей было хорошо. С чисто женской аккуратностью и домовитостью готовила она свои два вагона к поездке. Она даже похорошела от этой новизны.

Когда Лена впервые одела форменный синий жакет и порозовевшая от волнения пришла домой, Николай удивился:

— Ленка, да ведь ты еще — девчонка! Ну-ка... Ну-ка, повернись!

Он восхищенно оглядывал ее стройную фигуру.

— Правда, Коля, ничего? Идет ко мне?

— Идет.

«Вон она какая красивая, — подумал он о жене, — красивая и молодая. А я уж... Фасону во мне нет», — и вслух сказал:

— А ты модничать-то погоди. На работе себя покажи как следует.

...В пути Лена любовалась поездом. Когда на закруглениях состав выгибался полумесяцем, она высовывалась с площадки и, улыбаясь, глядела на голубую ленту вагонов. А на площадке другого вагона стояла Люба Иоффе.

На станции Залетная, где поезд стоял целых двадцать пять минут, обе вышли на перрон.

— Ну? — спросила Люба, спрыгивая с подножки вагона.

— Хорошо, Любаша... А кто поезд ведет?

— Мальцев.

— Костя? Ты наверное еще больше рада... Пойдем сходим к нему.

— Нет...

— Что так?

Люба вздохнула. Этим неуместным вопросом, этими казалось бы ничего не значащими словами, как ветром унесло радость... Конечно, в душе она была счастлива, что именно он первым повел ее поезд. Она даже гордилась им, когда на станции его чистенький сверкающий паровоз взял на прицепку вагоны.

Но как тяжело было ей, впервые полюбившей, вспомнить о нелепом разрыве.

— Мы теперь с ним не дружим, Лена.
— Полно тебе...
— Правда.
— Из-за чего поругались-то?
— Да так.
— Напрасно, Костя — хороший парень.
— Я сама знаю, что хороший.
— Ну и пойдем.

Лена поняла, что у ребят вышла какая-то пустяковая размолвка. Такие ссоры бывали и у нее с Николаем. Да и у кого их не бывает?

— Пойдем к нему, — сказала она и подхватила девушку под руку. — Уладим конфликт.
— Неудобно.
— Чего тут неудобного?
— Вот, подумает, — навязывается...
— Да ему небось самому не терпится...

Они пошли вдоль поезда к паровозу. Костя увидел их издали. Сначала он хотел побежать им навстречу и уже взялся за поручни, чтоб спрыгнуть с паровоза, но что-то удержало его.

Сегодня утром, когда ему сказали, что придется ехать с «голубым поездом», Костя обрадовался. — «Значит с ней, — подумал он. — Вот она у меня какая, добилась все-таки своего...»

Поезд он взял на прицепку осторожно, легко, неслышно, словно желая показать, что он знает, как надо брать хорошие поезда, чтобы пассажир не услышал толчка.

— Костя, Любанька к нам идет, — крикнул помощник.
— Мало ли куда она ходит. Мне какое до этого дело. Ты движение смазал?
— А как же, все готово, — ответил удивленный помощник.
— Ну-ка дай масленку, я еще раз сам...

Машинист молча взял масленку и, спрыгнув с подножки, перебежал на другую сторону паровоза.

— Механик, — позвала Лена.
— Ну?
— На минуточку...
— Некогда.

Люба резко повернулась и побежала прочь. Лена недоумевающе развела руками и пошла за ней.

«А может подойти?» — подумал Костя.

Он поставил масленку на место, вынул из кармана пучок пакли и стал вытирать руки.

— Где же они? — спросил он, поднявшись на паровоз.
— Ушли, — сказал помощник.
— Ушли? Ну и ладно...

★

Вернувшись в депо и поставив паровоз на канаву, Костя пошел в контору дежурного, чтобы записать в книгу ремонта кое-какие неисправности машины. Но по дороге его нагнал Давыдов.

— Костинтин, в дежурке не был? — спросил старик.

— Нет, только что с поезда.

— Ну, открывай на весь регулятор и вали туда. Там сейчас комедия будет.

— Какая?

— Андрей Николаевич пошел Столешникова ругать. Сердитый. Сейчас все у ТЧ из себя выходил.

«Чего он? — подумал Костя. — Андрей Николаевич вроде и ругаться-то не умеет».

В «брехаловке» было много народу. Столешников сидел на табурете посреди комнаты. Против него стоял Иоффе. Старик покраснел. Фуражка съехала у него на затылок.

— Кого же ты обманывал, Федор Александрович? — спрашивал Иоффе. — Кого? Своего брата — машиниста? Власть советскую обманывал?

— Это еще не доказано.

— Как так не доказано? Ты зря хвостом вертишь. Зря путаешься.

Столешников, уличенный в обмане, чувствовал себя скверно. Он трусливо оглядывался на присутствующих, словно искал поддержки. Но все, с кем бы он ни встречался взглядом, отвертывались от него. Тогда, как затравленный волк, он набросился на Иоффе.

— А ты что, прокурор? — закричал он. — Ты прокурор? Ты что меня допрашиваешь?!

— Не допрашиваю, а делом говорю: нехорошо, Федор Александрович, стыдно!

— Мне стыдиться нечего, — повышал голос Столешников, — ты бы постыдился брехать на старости лет. Ведь не доказано!

— В том-то и дело, что доказано. Вот акт рабочего контроля.

Иоффе надел очки, достал из бокового кармана кителя бумагу и, развернув, стал читать ее.

«Машинист Столешников хотел удивить общественность своей работой. Но вместо того, чтобы честно выполнять измерители, он занялся воровством и обманом.

Сговорившись с раздатчиком угля на эстакаде, он за водку получал лишнее топливо без отметки в требованиях. Таким образом он и «сэкономил» больше всех.

Это не «экономия», а обман. Он обманывает своих товарищей и общественность и должен ответить за это по заслугам».

Иоффе строго, поверх очков, взглянул на Столешникова. Тот чувствовал, что симпатии всех бывших в дежурке на стороне Иоффе, что это конец его, Столешникова, славы. Надо как-то повернуть ход событий, надо выкручиваться, и он презрительно бросил:

— Подкапываешься? Ложные бумажки читаешь? Да кто тебе поверит? Кто в этом контроле — ты?

— Дальше, товарищи, — обратился Иоффе уже не к нему, а к сидящим машинистам. — Материал проверен на основе личного и

письменного заявления помощника, работающего со Столешниковым. Вот его, — он указал на стоявшего рядом помощника.

— Так это ты, сволочь?! — набросился на него Столешников.

— Не очень-то лайтесь, Федор Александрович, — тихо сказал помощник, — не могу я вашей платформы держаться, поскольку считаю себя сочувствующим...

Столешников хотел что-то сказать, но только махнул рукой и, ни на кого не глядя, пошел к выходу. И только на пороге, оглянувшись и злобно метнув глазами, крикнул:

— Валяйте, подкапывайтесь!

Костя вышел вслед за Столешниковым. Он видел, как обиженный машинист, быстро удаляясь, скрылся за поворотом, в переулке.

«А я еще верил ему», — с досадой подумал Костя.

Он решил сегодня же поговорить с Любой и вечером пошел в парк. Там на открытой сцене хор железнодорожников пел русские песни. Полная, черноглазая девушка запевала бархатным контральто «страдания». Девчата из хора были в ярких рязанских сарафанах с пышными оборками. Когда солистка встряхивала головой, — на шее самоцветами сверкали стеклянные бусы...

Было шумно, весело, жарко.

Люба стояла одиноко, поодаль от сцены, в тени высокого клена. И все же Костя сразу увидел ее.

Он решительно подошел к ней, взял за руки и, словно между ними ничего не было, сказал:

— Пройдемся.

Девушка в знак согласия кивнула головой.

— Ну, как живешь?

— Ничего, — ответила Люба.

— Здорово вы поезд отделали...

Костя на минуту умолк и поглядел на Любу.

— Слушай, а ведь зря мы...

— Что — зря?

— Напрасно поссорились.

Люба остановилась. Она взяла его за руку и, взглянув прямо в лицо, сказала:

— Костя... я тебя...

Она не докончила фразы, но Костя понял, что она хотела сказать.

Домой они возвращались уже поздно. В одном из домиков слободки было ярко освещено окно. И когда Костя и Люба проходили мимо, услышали пьяный голос Столешникова:

— Точка, — кричал Столешников, — устрою именины... В Черемхове свой человек есть. Жизнью обиженный...

VII

В конце августа испортилась погода. Ясные солнечные дни сменились дождливыми, серенькими.

Куветы наполнились мутной грязной водой.

Меж шпал на линии стояли лужи, подернувшиеся зеленовато-синими пятнами мазута.

Косые дожди, бьющие в бок поезду, — несносны.

— Лучше бы встречь паровозу, — говорили машинисты, — а уж как в бок, да с ветерком — это хуже всего. Измучаешься в такую погоду...

Сумерки наступали рано, а ночи были темные, влажные. За дождем, за ветром на маленьких станциях не видно было сигнальных огней, а рожок стрелочника звучал где-то далеко, далеко...

Но сквозь ночь, сквозь ненастье и ветер машинисты вели составы, и поезда минута в минуту приходили к перронам.

Макар ходил веселый, возбужденный успехом.

— Не подкачаем, товарищ Иоффе? — спрашивал он у старого механика.

— Не беспокойтесь, — отвечал Иоффе.

Он был уверен в себе. Да и может ли быть иначе у него, у старого Иоффе, которому говорят:

— По вашему паровозу, как по радио, часы проверяем.

Двадцать седьмого августа минута в минуту вышел со станции московский экспресс.

Суета посадки, звонки, носильщики остались позади.

Пассажиры вверили себя стремительному бегу паровоза и мерному, убаюкивающему покачиванию вагонных рессор...

У каждого из них было свое — встречи, ожидания, деловой разговор, легкий дорожный флирт и доброе вино воспоминаний.

И только он, машинист Иоффе, не может закрыть глаза и отдаться воспоминаниям.

А между тем, жизнь его — в этих поездках. Было много хорошего и плохого. Даже известие о том, что жена родила первого ребенка, он получил в пути... Первого ребенка!

Это было на полустанке Черемхово. Знакомый начальник встретил его улыбкой:

— Вам, господин машинист, телеграмма. — С дочерью, Андрей Николаевич!

Тогда еще машинист был молод. Была весна. Бушевала черемуха, и он привез жене букет белоснежных терпко пахнувших веток...

...Дождь хлещет в лицо. Свет от головных фонарей паровоза выхватывает впереди ровные полосы рельсов.

Андрей Николаевич мог бы вспомнить такую же ночь, ненастную, жуткую, когда он вел поезд кронштадтских моряков, спешивших на помощь фронту...

Нет, машинист не имеет права на воспоминания. Он косит глазом на помощника, но тот сосредоточенно вглядывается в мглистую даль.

Вдоль насыпи зачернела роща. Ветер рвал и метал верхушки осин и деревья жалобно стонали.

«Сто семнадцатый километр, — узнает машинист, — значит, двадцать три тридцать...»

Он безошибочно угадывает время, но все-таки достает из бокового кармана часы. Стрелки показывают двадцать три часа тридцать

минут. Через шесть минут роща останется позади. Потом будет маленький мостик и за поворотом мелькнут огни полустанка.

В поле ветер был особенно неистов, с гиканьем налетал он на поезд, словно хотел столкнуть его с рельс.

А поезд бежал все вперед и вперед.

Вот уже колеса прогрохотали по мосту. Головные фонари паровоза, прочертив полукруг, выхватили из мрака одинокий кустик калины, копну намокшего черного сена, телеграфный столб с пучком убегающих в ночь проводов. Вдали вспыхнул зеленый глазок семафора.

— Все в порядке.

Машинист оторвался от окна, вытер платком мокрое от дождя лицо и потянулся к рукоятке гудка.

И паровоз рявкнул бодро, задорно, но не успел Андрей Николаевич опустить руки, как что-то произошло. Тонким, срывающимся голосом помощник закричал:

— Андрей Николаевич, нас принимают... — Он не договорил.

Иоффе бросился к окну и внезапно побледнел. Впереди черной глыбой маячили вагоны.

Привычная рука тянется к тормозу. Но удержит ли?

«Нет, надо закрыть пар!»

Помощник, высунувшись из будки, смотрит вперед. Он забыл, что нужно прыгнуть. Он обо всем забыл...

«На этой станции я получил телеграмму о рождении Раечки», — почему-то вспоминает машинист...

И в мгновенье, в неуловимый последний миг вихрем проносится сумятица мыслей: в вагонах едут люди — задумчивые, болтливые, грустные и радостные. У каждого из них — ожиданье. Встреча с любимыми, с родными. Семейные дела, дипломатические поручения...

Жизнь!..

Это длится меньше секунды. Испытанная годами воля выключила все постороннее, ненужное... Осталось одно: остановить!

Андрей Николаевич скорее почувствовал, чем услышал, как застонали тормозные колодки.

Потом сзади ударили подпиравшие вагоны экспресса и, сдерживая их напор, паровоз задрожал...

*

У начальника полустанка Черемхово было тяжело на сердце.

Тоска приходила в эти дождливые дни непрошенной гостьей, и Аркадий Алексеевич Пережогин проклинал свою одинокую жизнь.

Вечером он сидел в дежурной комнате, прислушиваясь к завываниям ветра, смотрел, как крупными дождевыми слезами плакали тусклые окна полустанка.

В углу комнаты жарко пылала печь, и сторож, лохматый, обросший рыжей бородищей, сидя на корточках, рассказывал путевому обходчику охотничьи истории...

Монотонно звякнул диспетчерский аппарат. Пережогин придвинулся к нему и услышал знакомый голос дежурного соседней станции:

— Черемхово, Черемхово... Экспресс «2» вышел.

— Принимаю экспресс, — вздохнув, ответил Аркадий Алексеевич.

— Была у меня двухстволочка тульского образца, — рассказывал обходчик. — Витые стволы. Зовет меня, понимаешь, на пасху шурин: пойдем, слышь, на тетеревов. Пошли...

Мирно коптила лампа. Басок рассказчика навевал дремоту...

— ...Сидят они на полянке, вот-вот столкнутся. У меня под сапогом, понимаешь ли, ветка хрустнула... Тиш-шина...

«Тишина и глушь, — думает Аркадий Алексеевич. — Сейчас бы поехать в город. Огни. Провести по-человечески вечер. Там даже дождь не был бы заметен...»

Он смотрит на сторожа, на путевого обходчика. У обходчика болят зубы. Щека перевязана клетчатым платком.

«Сидят, — думает Пережогин, — сидят и врут».

— Надо скорый принять, — говорит Пережогин.

— Сейчас, — отзывается сторож и начинает одеваться. Он долго возится, зажигая фонарь, плюется, матерится на кого-то и лохматый, неуклюжий уходит в ночь.

Обходчик гремит кочергой, поправляя огонь в печке.

Мерно тикают часы...

Сторож почему-то долго не возвращается.

И вдруг, сквозь вой ветра, сквозь заунывное бормотанье дождя, Пережогин слышит тревожные гудки паровоза.

«Что это?» — думает он.

Гудки повторяются, и начальник без фуражки, с расстегнутым кителем выбегает из полустанка.

Он бежит к семафорным стрелкам, под ногами хлюпают лужи, его сечет мелкий дождь.

Навстречу ему человек.

— Вы работаете или грибы собираете? — говорит злобно Иоффе. — Куда приняли поезд?.. Где начальник?

— Начальник — я, — отвечает Пережогин едва слышным голосом.

— Ага, начальник!.. Ну-ка, иди полюбуйся на свою работу!..

★

Под утро Федор Столешников услышал, будто кто-то тихонько царапает о сенную дверь. Сначала ему показалось, что это дождь, но вслед за тем раздался тихий осторожный стук. Машинист вышел и, не отпирая двери, спросил:

— Кто тут?..

— Впусти, Федор Лександрыч!

Голос показался незнакомым, и Столешников переспросил:

— Да кто?..

— Ну, я...

Федор приоткрыл дверь и увидел рыжую лохматую бороду.

— Ты? А-а. Ну, давай скорее.

Человек пролез в сени. Был он весь мокрый от дождя. И сразу в сенях по полу расползлась лужа. Машинист покосился на грязные, облепленные глиной сапоги пришельца и, вздохнув, предложил:

— Сними чоботы-то да пойдем в горницу.

Гость осторожно, стараясь не шуметь, разулся и сбросил набухший дубленый полушубок.

Когда проходили в горницу мимо приоткрытой двери чулана, бородач увидел — там спала машинистиха. Она лежала, разметавшись. Толстая и голая, как отесанное бревно, нога ее выбилась из-под ватного пестрого одеяла.

— Продрог я, Лександрыч. Нету ли погреться?

— Сейчас.

Столешников достал из горки графинчик водки, настоенной на смородиновом листе... Бородач выпил.

— Ну? — спросил Столешников, не глядя на гостя. — С лихом или с добром?

— Так оно и вышло, как думалось, — начал гость. — Погодка выдалась подходящая... Ставлю на второй путь. Там состав порожняка. С разгону, думаю, врежется, — все к чорту полетит... Сделал, а сам в березнячок, — под насыпь. Вижу из-за поворота вывернулся поезд. Стрелку прошел... Я даже глаза зажмурил и считаю про себя: вот-вот долбанет...

— Ну? — нетерпеливо перебил Столешников.

Гость вяло пожевал хвост селедки, выплюнул кости в горсть и ответил:

— ...Остановился.

— Балда, — сказал тихо Столешников, — этого уж не сумел.

— А поди-ка, сумей, — огрызнулся гость. — Я к самой насыпи подполз. Гляжу, наш бежит. Шагов двадцать не дошел, остановился... к нему подошел Иоффе. Тут они промежду собой ругаться начали. А я ходу, на перегоне вскочил на товарник, да вот и добрался...

— Балда, — еще раз повторил машинист и отвернулся.

Бородач, не обращая внимания на хозяина, налил себе еще водки. Выпил. Прищелкнул языком и с хрустом стал жевать лук...

— Измаялся я. Поспать бы, — сказал он после некоторого молчания.

— У меня не годится, — ответил хозяин, — у меня никак невозможно... Иди на линию. Там возле водокачки порожняк стоит. Там в вагоне и поспишь.

— Боишься? — насмешливо перебил гость. — Ну, и ладно!..

Он встал и первым пошел в сени. Проходя мимо чулана, где спала жена Столешникова, подмигнул хозяину и беззвучно рассмеялся:

— Однако, башня у тебя...

Столешников промолчал и подумал: «Кабы не это время, ты бы не то что смеяться в моем дому — за полверсты бы шапку ломал...»

— А получается ли чего? — также смеясь спросил гость.

— Не до этого, — отмахнулся машинист...

Рыжебородый ушел.

Проводив его, Федор Александрович уже не мог заснуть. Ходил по горнице, долго стоял перед фотографической карточкой, что висела на передней стене, любовно обделанная в рамочку с золотистым бантиком.

На карточке был изображен молодцеватый машинист, затянутый в форменный китель.

— Да-с, Федя, — сказал Столешников, обращаясь к портрету, — так-то вот она, жизнь-то, складывается. Не ждали мы с вами, господин начальник, этого...

Когда рассвело, Федор одел рабочий пиджачишко и пошел на погребицу—разбираться. В работе он хотел забыть ночную неудачу...

На погребице было пыльно. Пахло затхлостью, плесенью.

В одном из углов было свалено какое-то старое тряпье, сапоги, обломки мебели. Федору Александровичу давно бы надо было выбросить эту дрянь, но все как-то жалко было. — А может на что-нибудь и пригодится, — думал он.

Машинист присел на корточки перед этим «богатством» и стал перебирать слежавшуюся ветошь.

*

На следующий день вышел экстренный номер «Искры», в котором сообщалось:

«В ночь на 28 августа экспресс «№ 2», шедший к станции Черемхово со скоростью в шестьдесят километров, был принят на второй путь, где стоял состав порожних товарных вагонов. Но машинист Иоффе А. Н., старый производственник, с опасностью для жизни сумел остановить поезд за тридцать сантиметров от гибели. Начальник дороги об'явил благодарность паровозной бригаде за самоотверженный поступок, предотвративший аварию.

Виновник преступления — сторож полустанка Черемхово, оказавшийся бывшим кулаком, скрылся. К суду привлекается начальник полустанка Пережогин, обнаруживший преступную халатность.

Линейное управление НКВД продолжает следствие».

*

Второго сентября снова проглянуло солнце. День выдался яркий. В воздухе кружились паутинки — спутницы бабьего лета.

В депо звонко перекликались ручники, из распахнутых окон токарной мастерской слышалось жужжание резцов.

На лавочке, возле депо, сидели механики. Иоффе, окруженный толпою товарищей, рассказывал Шапкину:

— Слез я с паровоза и, поверишь, — хочу чего-то сказать, губы шевелятся, а слов нет. Как-то ослаб даже...

— Еще бы, — поддакивал Шапкин.

Из дежурки вышел Столешников, направился к машинистам.

Под мышкой он нес сверток, перевязанный голубой шелковой ленточкой.

— Герою. Подарочек от друзей, — сказал, подмигнув, Столешников.

Он шагнул к Иоффе, протягивая сверток.

— Спасибо, — ответил Иоффе, — и стал развертывать бумагу.

«Вот, опять товарищи балуют меня, — подумал он, — подарок что, подарок — пустяки. Важно внимание»...

В свертке были грязные, заплесневелые, стоптанные штиблеты.

— Этто как же? А? — Иоффе даже растерялся, так это было неожиданно.

Паровозники тоже стояли в оцепенении.

— Товарищи, как же это?.. — бормотал старик.

Николай Шапкин шагнул к Столешникову и положил ему на плечо длинную волосатую руку. Он был страшен. На изрытом оспой лице его появились красные пятна. Глаза расширились...

— Ты... гад... зачем? — с натугой, не разжимая зубов, произнес он.

Столешников попятился.

— Я это так... для смеху...

— Так? — переспросил Шапкин и замахнулся.

Машинисты участливо обступили Иоффе.

— Успокойся, Андрей Николаевич.

— Мы эту гадину притянем...

В этот же день взволнованное обидой, нанесенной лучшему механику, депо бурлило. Летучие митинги мастерских и паровозных бригад требовали увольнения с работы Столешникова.

Больше всех кипятился Шапкин.

— Под суд, — кричал он, — распыжить к чортовой матери!..

Испуганный Столешников лепетал:

— Без злого умысла. По дружбе, для смеху. Я ведь товарища Иоффе и сам уважаю. Господи, да как же не уважать — сколько лет вместе работаем?..

Стоявший рассыльный Давыдов сурово посмотрел на Столешникова и медленно проговорил:

— Понял я вас, Федор Александрович. Ничтожный вы человек!..

VIII

Около десяти часов вечера был вынесен приговор. Люди стали расходиться. Любопытные задерживались около выхода, чтоб еще раз взглянуть на подсудимых.

Наконец, вывели. Впереди шли два красноармейца, за ними угрюмо шагал рыжебородый лохматый старик, с густыми насупленными бровями, следом, в паре, шли Столешников и Пережогин. Шествие замыкали опять красноармейцы...

— Федор Александрович-то, — шептали в толпе, — изменился-то как, куда весь фасон делся...

Конвой прошел вдоль ярко освещенного фасада, вышел на мостовую и скрылся в сумерках.

Толпа редела.

Макар вышел из клуба немного усталым. Сегодня он выступал с обвинительной речью. Но несмотря на усталость, парторг был бодр. Во время речи он прислушивался к сидящим в зале железно-

дорожникам и чувствовал, что они понимают его, что он говорит то же, что сказал бы каждый из них.

Выйдя из клуба, Макар пересек площадь и направился в парк. Захотелось подышать чистым осенним воздухом, освежить разгоряченную голову.

Парк раскинулся по взгорью и оттуда было видно депо. Море огней — желтых, зеленых, красных. Неподвижных и двигающихся, ярких и тусклых.

Макар встал у обрыва. Внизу, на линии, два раза протяжно рявкнул паровоз, и парторг угадал:

— Маневровый на блокировке вагоны осаживает. Сейчас на магистраль выйдет...

И он проследил, как паровоз вышел на главный путь, весело, отрывисто гукнул и, отдуваясь, пошел к эстакаде.

Воздух был чист и свеж. Сюда не добиралась паровозная копоть.

Сзади послышались шаги. Парторг обернулся и узнал Шапкина.

— Стоите? — спросил тот, подходя и не глядя на парторга.

— Проветриться решил, — ответил Макар.

— А я за вами шел, — сказал Николай.

— Да?

Шапкин потоптался на месте, словно не решался начать разговор первым. Наконец сказал:

— Поговорить хочу с тобой.

— Пожалуйста...

Они давно не разговаривали. Шапкин искоса глядел на Макара. Сегодня, — да разве только сегодня, — он долго продумывал предстоящий разговор, а теперь вдруг забыл, с чего начать надо.

— Так что хорошего скажешь, Николай?

— Разговор большой будет, товарищ Канычев, — говоря, он глядел мимо парторга. — Ты, может, думаешь — сволочь Шапкин... Работать не хочет...

— Не думаю так...

— Ну? — обрадовался Николай и прямо поглядел на Макара.

— Я понимаю тебя.

— А я, Макар, сначала не раскусил тебя. Думал, так приехал... Думал, фасон будет показывать...

Парторг поморщился. Шапкин почувствовал это.

— Ты не серчай, я откровенно. Обидно мне было и... дурил. Я об этом очень много думал. Последний пример со Столешниковым меня здорово ущемил. — Когда тут сволочь орудует — нам нельзя ругаться. Нельзя. А ты, Макар, ежели что — не стесняйся, давай. Я буду работать. Я спорый на дело...

— Чучело, давно бы так, — шутливо ответил Канычев и, хлопнув Шапкина по плечу, добавил: — Работы, Коля, горы — будут дела... Пойдем-ка, — предложил он и, не дожидаясь согласия, взял машиниста под руку.

Они пошли узким переулком, крутым склоном, прямо к переезду.

«А ведь, право, ничего парень-то, — думал Шапкин, — как же это у меня получилось с ним?.. Ай, нехорошо... Ну, да ведь сразу человека не поймешь!..» — оправдывался он.

— А я вот побродить решил. Ты как — свободен? Пойдем-ка на реку. Очень я реку люблю, Коля, рыболов страстный, — рассмеялся Макар.

— Право слово?.. Да мы с тобой, Макар, на рыбалку как-нибудь сходим. Ведь у меня и снасти есть и лодку найдем...

★

Костя Мальцев возвращался из поездки.

Огни последней станции остались позади.

Поезд пошел с уклона.

Мелькнула роща. Справа серебряной лентой сверкнула река. Спокойная-спокойная, чуточку розоватая.

Такой она бывает только в ясные сентябрьские вечера, когда уже чувствуется холодок и березы роняют желтый лист — предвестник близкого увядания.

За поворотом открылись пригородные сады. Пахло яблоками и медом.

Вдоль насыпи, по берегу реки, шли два человека.

— Гуляют, — улыбнулся машинист, а всмотревшись — удивился:

— Да ведь это Макар с Шапкиным! — сказал он.

Два человека шли обнявшись...

СОДЕРЖАНИЕ

В. ТЮКАЧОВ

На чужбине 5

ДМ. СЕМЕНОВСКИЙ

Сад. *Поэма* 73

АЛЕКСАНДР АЛЕШИН

Сто сил. *Рассказ* 117

А. БЛАГОВ

Стихи 127

МИХ. ШОШИН

Рассказы 143

АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ

Стихи 161

МИХАИЛ МАРКОВ

Стихи 173

В. ПОЛТОРАЦКИЙ

Машинисты 179

Редактор Д. Г. Прокофьев. Технический редактор В. П. Федоров. Обложка художника В. Н. Говорова.

*

Сдано в набор 7|III 1936 г. Подписано к печати 23|IV 1936 г. Тираж 2130 экз. Печ. л. $13^3/_4$. Бум. л. $6^7/_8$. Учетно-авт. лист. 14,16. Формат 62×94|16. Изд. № 17. Уполн. Ивоблдита № 89. В бум. л. 95648 зн. Инд. Х—16.

*

Отпечатано в типографии издательства ивановского обкома ВКП(б). Иваново, Типографская, 4. Заказ № 1750.

Областная Центр. Библиотека
№ 38915
Кр. Н. К. П. Симферопольск

Государственное издательство Ивановской области просит читателей и библиотеки присылать отзывы об этой книге по адресу:

Г. Иваново, Крутицкая, 15, Государственному издательству Ивановской области.

0-75
Ц6621
4 руб. 50 коп. 3р